This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

БИБЛІОТЕКА

Сергѣя Сергѣевича

Башмакова.

Отдѣлъ _____ № 32.

HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

ПОЛНОЕ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

А. Марлинскаго.

ЧАСТЬ XI.

Sclav 4336.55.5 (11)

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
MAR 20 1958

СТИХОТВОРЕНІЯ

И

ПОЛЕМЕЧИСКІЯ СТАТЬИ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ III. ОТДѢЛЕНІЯ СОБСТВЕННОЙ Е. И. В. КАНЦЕЛЯРІИ.

1838.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ.

Санктпетербургъ, 28 Ноября 1838 года.

Цензоръ *А. Никитенко.*

АНДРЕЙ,

КНЯЗЬ ПЕРЕЯСЛАВСКІЙ.

ПОВѢСТЬ.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ ОТЪ СОЧИНИТЕЛЯ ПОВѢСТИ.

«Нашего полку прибыло, прибыло,
ой Дидъ ладо прибыло!»

Старинная пѣсня.

Въ лѣто, отъ сотворенія міра, по Греческимъ хронографамъ 7335[е], я нижеподписавшійся лежалъ на кровати своей, перелистывая черепословную систему доктора Галля, развитую Спурцгеймомъ, и очень досадуя на природу, что она не выставила нумеровъ на мозговыхъ моихъ органахъ, для легчайшаго пріиска. Щупая и перещупывая однакожъ всѣ выпуклости на кивотѣ моего генія, весьма былъ я изумленъ, когда указатель-

ный мой перстъ встрѣтилъ на немъ шишку воображенія и потомъ пирамиду сравненія, двухъ несомнѣнныхъ спутниковъ поэзіи. Чортъ меня возьми! вскричалъ я тогда (грѣшный человѣкъ, это мое любимое восклицаніе); мудрено-ль, что у меня издавна чесались руки на стихотворство, когда сама природа предназначила меня быть поэтомъ! И какъ до сихъ поръ не послѣдовалъ я своему призванію?... Не говорилъ ли мнѣ Нѣмецъ, сапожникъ и эстетикъ вмѣстѣ, что въ ногахъ моихъ естьчто-то поэтическое! Не пожадовала-ли меня въ Русскаго Парни полдюжина пріятелей, съ которыми осушилъ я двѣ дюжины шампанскаго! Не назвали-ли меня двѣ премилыя дамы поэтомъ за то, что въ альбомахъ я поставилъ ихъ, кажется, двумя градусами выше всѣхъ языческихъ богинь! А собственное сознаніе мм. гг., развѣ копѣйка? Я съ младенчества чувствовалъ, что во мнѣ шевелится эксентрическое сердце, и если подъ розгами не плакалъ гекзаметрами, подобно славному Латинскому поэту, за то ранѣе могъ отличить ямбъ отъ хорея,

чѣмъ винительный падежъ отъ предложнаго. Притомъ же два доктора, съѣвшіе на черепахъ зубы, должны знать свое дѣло, и мадамъ-природа вѣрно не такъ неучтива, чтобы избрать мою голову для забавнаго исключенія. Рѣшено и подписано: я поэтъ; поэтъ на зло судьбѣ!

Нечего и сомнѣваться, что по духу времени и вкусу я былъ романтикъ до конца ногтей. Нечего и сказывать, что я хотѣлъ первую попытку свою вылить въ историческую форму. Не доставало мнѣ только героя, а герои, въ нашъ героическій вѣкъ, отъ стеченія ихъ на базаръ славы, стали такъ рѣдки, что самъ Байронъ перечелъ сотни двѣ именъ не зацѣпясь ни за одно. Надобно было просѣвать пепелъ Русской старины, а на бѣду я жилъ тогда въ чужой землѣ, безъ Русскихъ книгъ, даже безъ Русскихъ знакомцевъ. Перерывая въ сумкѣ памяти (которой крѣпостію не могу похвалиться), попалъ я на Андрея князя Переяславскаго, проименованнаго *добрымъ*: его-то избралъ я моимъ героемъ; онъ то долженъ былъ взять на себя,

всѣ ошибки воспоминанія. Разъ, два — и повѣсть, носящая на себѣ это имя, вылѣзла изъ головы моей до половины, какъ Минерва изъ головы Юпитера, въ заржавой, старинной кольчугѣ, только въ недошитомъ кафтанѣ и съ носомъ недорослемъ, который злая судьба грозилась уже ему приставить безъ моего содѣйствія. Господа стихотворцы знаютъ, какъ пишутся нынѣшнія поэмы, и потому не для чего мнѣ распространяться, какъ я бросалъ мысли за недочетомъ рифмъ, или рифмы за неявкою мыслей: изъ десяти начатыхъ картинъ, едва-ли двѣ доходили до половины, и я было хотѣлъ, по вольности словеснаго цѣха, сшивать окончанія бѣлыми стихами, какъ бѣлыми нитками. Одиночество удивительно какъ надуваетъ самолюбіе: самъ пишешь, самъ себя похваляешь. Сперва смиренно говоришь: «Кажется, это не дурно!» Потомъ, *кажется* превращается въ *точно*, и точно въ *несомнѣнно*. Нѣкому оспорить, покритиковать, исправить. Скоро однако же простылъ творческій жаръ мой: я усталъ прыгать по стрекозиному отъ

предмета къ предмету, не имѣя терпѣнія склеивать ихъ гладко. Два мѣсяца потомъ мое разбросанное сочиненіе казалось мнѣ прекраснымъ; еще черезъ два хорошимъ, тамъ нарядным, и черезъ полгода я нашелъ его только, только что сноснымъ. Лица въ немъ были замысловаты не по своему вѣку, рѣчи пышны не по людямъ; однимъ словомъ: я обулъ въ Русскіе лапти Нѣмецкую философію. Это сознаніе, соединенное съ божественною лѣнью, по которой я самъ могу мѣтить въ полубоги, было виной, что князь мой остался о двухъ головахъ, хотя я предполагалъ его сдѣлать, какъ змѣя Горынича, шестиглавымъ. Не то, чтобъ я отрицалъ въ этой повѣсти всѣ достоинства: въ ней есть свѣжія картины, удачныя сравненія, звонкіе стихи, нигдѣ не заимствованныя мысли; смѣю сказать, что если-бъ я продолжалъ ее, остальныя главы, возвышаясь занимательностію, могли-бы искупить недостатки предъидущихъ; но все таки я убѣдился, что въ ней не было-бы этой кушности, этого цѣлаго, знаменующаго физіогномію геніяльныхъ произведеній,

и бросилъ поприще, на которомъ не льстился опередить многихъ. Для себя собственно, я не на всегда отказался отъ прелестной болтуньи поэзіи, которая дарила меня столь сладостными часами забвенья страданій; но теперь я удовольствуюсь однѣми прогулками, а не дальними путешествіями съ нею. И такъ мм. гг., несмотря на свою поэтическую звѣзду, на свои призвательныя шишки на черепѣ, подъ № 16 и 30-мъ (зри френологію), даже не смотря на увѣренность, что я съ большою легкостію могу писать такъ же вздорно какъ другіе, я отказался отъ бумажнаго вѣнка поэта. Очень-бы радъ былъ, если бы моя исповѣдь послужила урокомъ для многихъ молодыхъ стихотворцевъ.

Впослѣдствіи, переѣзжая Россію, что бы отправиться въ одну изъ дальнихъ ея провинцій, я отдалъ одной, душевно уважаемой мною особѣ, единственную черновую тетрадь, въ которой заключались двѣ главы Андрея Переяславскаго, и нѣкоторые отрывки слѣдующихъ, отдалъ, какъ обломокъ Вавилонскаго стол-

на, на которомъ хотѣлъ я спастись отъ потопа забвенія, какъ летучій слѣдъ моей пролетной метроманіи.

Вотъ, въ одно прекрасное утро, въ 1828 году, приносятъ ко мнѣ Московскія Вѣдомости; и что-же? Между продажными пустопорожними мѣстами, поѣзженными дормезами, и прачками, которыя умѣютъ шить и гладить и проч. и проч., отпускаемыми въ услуженіе, начитываю, что мой безпорыстный Андрей Переславскій напечатанъ и поступилъ въ продажу! Если справедливо выраженіе, что люди падаютъ съ облаковъ отъ изумленья, такъ это былъ я. Вообразите себѣ лунатика, пробудившагося посреди полнаго партера въ халатѣ и колпакѣ, и вы еще будете имѣть несовершенную идею объ авторѣ, котораго въ такомъ неприборномъ видѣ вывели въ публику! Никогда не приходила мнѣ мысли, даже въ самомъ пылу стихотворной горячки, печатать неконченную пьесу, не только сдва набросанную главу ея. Донъ Жуанъ не указъ для тѣхъ, кто не рожденъ съ геніемъ Байрона, и по послѣднѣмъ «первый кусъ раз-

бейникъ», я зналъ, что завтракъ портитъ вкусные обѣды. Какова же была моя досада, увидѣть себя такъ напечатаннымъ! Я хотѣлъ писать отрицаніе, сориться съ издателемъ, бѣсновался какъ шаманъ, но до почтоваго дня уходился, притихъ и размыслилъ, что публика навѣрно пропуститъ безъ вниманія пьесу, написанную безъ связи, слѣдственно забвеніе постигнетъ ее такъ же хорошо въ книжномъ амбарѣ, какъ и въ чемоданѣ моемъ. Дѣло вышло однакожъ не совсѣмъ по моему. Г—да журналисты вытянули ее на мигъ изъ Леты своими вопросительными удочками: одинъ сказалъ, что повѣсть эта грѣшитъ надмѣрною отдѣлкою стиховъ, другой, что они слишкомъ небрежны, но никто не замѣтилъ важнаго промаха моей напасти, что я, Богъ вѣсть за какую вину, сослалъ Андрея, князя Надпѣпровскаго Переяславли, подъ Карпатскія горы, на Дунай. Не желая напликать на себя большей грозы, я притаился, и благодаря все умиряющему совѣстному судьѣ, времени, повѣсть моя, критика на нее, и рецензія на критику — все кануло въ воду.

Вдругъ, ровно черезъ три года, явилась 2-ая глава моего Андрея, въ 41мъ №. Журнала *Галатея*, явилась, и, признаться сказать, еще неумытее старшей сестрицы своей. Вельми изукрашена была первая прошусками, описками, подписками, ошибками самородными и привитыми корректоромъ; но вторая далеко оставила ее за собой: она, по словамъ Вальтеръ Скотта, представилась «въ самомъ удивительномъ безпорядкѣ.» Я думаю, крѣпко, ахали разногласные отрывки и параграфы, когда мощная рука переплетчика свела ихъ на очную ставку! Во многихъ мѣстахъ не доставало цѣлыхъ страницъ, въ другихъ не вписано поправленныхъ или вычеркнутыхъ стиховъ, полустишій, тирадъ; да кромѣ того, рука моя такъ походитъ на гусарскую цифровку, что не мудрено было переиначить смыслъ ошибками, и надо признаться, что ихъ куча, и презабавныхъ для всѣхъ, кромѣ автора.

Публика, не вѣдающая ни отношеній, ни намѣреній сочинителя, была въ полномъ правѣ ожидать, что онъ, послѣ трѣхъ-лѣтняго молчанія, вѣроятно пос-

вящшаго отдѣлкѣ, неподчуетъ ее чѣмъ нибудь совершеннѣйшимъ перваго образчика; что разсказъ его будетъ плавнѣе, дѣйствіе живѣе, поэзія блистательнѣе — и увидѣла вмѣсто того какой-то сонъ Жанъ-Поля, съ намеками, связанными бусами точекъ, многозначущихъ и ничего не стоящихъ!..* Она не можетъ не осуждать автора за такую небрежность; но, съ своей стороны невинный въ этомъ авторъ, т. е. я, не дѣлавшій никого своимъ душеприкащикомъ, объяснивъ происхожденіе Андрея Переяславскаго, считаю долгомъ *объявить* почтеннымъ читателямъ, которые были завлечены на чтеніе онаго любопытствомъ, и покинули его отъ нетерпѣнія, что повѣсть сія напечатана *безъ моего вѣдома*.

Дагестанъ 1831 года.

---

* Авторъ къ сожалѣнію, не оставилъ послѣ себѣ никакихъ отмѣтокъ, по которымъ бы можно было исправить ошибки, вкравшіяся при первомъ изданіи этой повѣсти.

Прим. изд.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Дѣйствіе происходитъ вблизи Надунайскаго Переяслава, или въ самомъ городѣ и занимаетъ пять дней времени. Происшествія каждаго дня составляютъ главу.

Какъ взоръ любви, или обѣты славы,
Плѣнительна святая старина,
Прапрадѣдовъ дѣянья величавы
И тихій бытъ и грозная война!
Призывъ ея чарующій внимая,
Душа гулитъ, какъ арфа золотая!
Минувшее встекаетъ предо мной,
Объятымъ паяву мечтой дремотной:
Богатыри медлительной стопой
Мимо идутъ въ осанкѣ беззаботной.
Я знаю васъ, питомцы древнихъ лѣтъ!
На васъ горитъ бытописаній слѣдъ.

Не разъ меня мечта моя носила
Въ край Галича, на роскошный Дунай . . .
Святослава честь и царство Даніила —
О, сѣвернымъ мечемъ добытый край! —
Въ поляхъ твоихъ мнѣ чудилися дѣды,
Ихъ бранный гулъ и шумныя побѣды.
Но вняли кровь и славу ихъ — поля,
Ихъ доблести развѣяла чужбина;
И Русскаго хвалой не веселя,
Родныхъ пѣвцовъ безмолвствуетъ дружина!
Но лучъ упалъ, раздался рокотъ струнъ, —
Какъ по небу далекому перунъ! . . .

Путь.

I.

Пылая зноемъ, полдень сонной
Лежалъ надъ Русію червонной.
Прильнула тѣнь къ подножью скалъ
Уединеннаго Карпата;
На рѣчкѣ лебедь задремалъ,
Несомъ волной живаго злата,
И подъ огнемъ полдневныхъ стрѣлъ
Путь Византійскій опустѣлъ.
Склоняясь влѣво надъ потокомъ
Съ нагорія, къ Дунаю, онъ
Идетъ въ величьи одинокомъ
Отъ дальнихъ Кіева сторонъ.
Но что за путникъ надъ курганомъ,
Склонясь на боевой топоръ,

Плечо подъ буркою съ колчаномъ,
На тихій путь наводитъ взоръ?
Кто сей другой . . .
Къ землѣ приникнувъ головою?
Быть можетъ обоихъ ловцовъ
Поутру выманила трава
Изъ ближнихъ стѣнъ Переяславля.
Но съ ними нѣтъ ни соколовъ,
Ни ловчихъ псовъ: ихъ дики взгляды,
На нихъ не Русскіе наряды,
Въ полукафтаньяхъ до колѣнъ,
Въ зеленыхъ туфляхъ, въ шапкахъ черныхъ,
И сабли кочевыхъ племенъ,
Ножи на поясахъ наборныхъ . . .
То цвѣтъ разбоя и войны,
То грозныхъ Половцевъ сыны.

II.

Первой Половецъ.

Что видно ль?

Второй Половецъ.

Никого не видно:
Спокойна по дорогѣ пыль
И не шелохнется ковыль,
Все спитъ.

Первой.

Досадно и обидно;
Мы даромъ болѣе трехъ дней

Отлучены своихъ степей
И милыхъ таборовъ. Не я ли
Тебѣ предсказывалъ, Тоналъ,
Что въ этой незнакомой дали
Добыча трудная для насъ;
Въ охрану путниковъ чужбины,
Славянъ и Греціи гостей,
Даетъ воителей дружины
Князь Переяславскій Андрей.
Не лучше ль знамена любыя
Избравъ, съ толпою красныхъ женъ
Катить палатки боевыя
За Днѣпръ или за тихій Донъ?

Второй.

Гдѣ жъ видѣлъ ты орловъ дубравы
Къ добычѣ стаями полетъ?
Да и на Русь открытъ намъ слѣдъ
Не для добычи, а для славы:
За тѣмъ, что къ золоту ключи
У ней — двуострые мечи.
Намъ дорогъ сталъ въ глуши безлѣдной
Съ дѣтьми Олега бой побѣдной!
Изъ нихъ отважнѣйшій Всеволодъ,
Засѣвъ на Кіевскомъ престолѣ,
Съ князьями, съ нами драться радъ
И въ городахъ, и въ чистомъ полѣ.
А Поволожья стороны,
Въ обиду Половцамъ, едва ли

Князь Володиміра сыны
Дадутъ? Мы это испытали
Въ несчастьи Глѣбовской войны.
Здѣсь то ли дѣло! Край обильной,
Народъ лѣнивъ, народъ богатъ,
И по дорогѣ вѣчно пыльной
Гостей и денегъ перекатъ.
Повѣрь, Кончакъ, пора наступить:
Мы отобьемъ, что слабый купить.

III.

Кончакъ.

Надежды — въ небѣ журавли,
Я ихъ смѣняю на синицу;
Мнѣ горъ жемчужныхъ не сули,
А только въ руки дай златницу.

Топалъ.

Терпѣнье въ грабежѣ, къ бою,
Нужнѣй отваги молодецкой:
Я первый разъ не узнаю
Въ тебѣ привычки Половецкой!
Уже ли, въ гридницѣ княжей,
Полгода выслужа изъ рѣги,
Ты скучилъ волей кочевой,
Ты разлюбилъ свои набѣги?
И степь раздольную смѣнилъ
На душность города могилъ?

Кончакъ.

Топазъ! сомнѣніе напрасно:
На древней Русской сторонѣ
Всего довольно, все прекрасно,
Да не по сердцу что-то мнѣ.
На ихъ пиры, на ихъ моленья
Дивясь причудамъ я глядѣлъ,
И разгадать я не умѣлъ
У нихъ къ разбойникамъ презрѣнья?

Топазъ.

Позора этаго вина, —
Лѣнивыхъ душъ пустые толки.
За чѣмъ же коней рѣжутъ волки?
За чѣмъ же беркутъ бьетъ орла?
За чѣмъ всему владыко сила,
И только воля ей законъ?
Пускай намъ платитъ Днѣпръ и Донъ,
Когда насъ брань усыновила!

Кончакъ.

У нихъ одинъ грабежъ — война.

Топазъ.

Глупцы! какъ будто знамена
Ихъ совѣсть съ правдой освѣжаютъ!
Не тѣль опасности и кровь,
Не та ли жъ къ выгодѣ любовь
Разбой и битвы украдаютъ?
Когда же выпадетъ и намъ
Вернуться къ родовымъ шатрамъ,

Съ добычей золота богатой,
Сберется любопытный станъ
Вкругъ нашей кровли полосатой,
Самъ на поклонъ пріѣдетъ ханъ . . .
И загремятъ веселья чаши
Хвалу счастливымъ удальцамъ,
И гордо станутъ дѣвы наши
Добро показывать гостямъ:
Ковры, блестящія монисты,
Насѣчку дивную броней,
Сафьянъ и черныхъ соболей,
И узорочья серебристы! . .
Кто спроситъ, гдѣ они взяты?
Орканами, иль на щиты? . . .

IV.

Воображеніемъ носимой
Предвидитъ Половецъ возвратъ,
Привѣтливость семьи родимой
И лепетанье Половчатъ.
Жены любезной кликъ онъ внемлетъ,
Ее даритъ, ее объемлетъ;
Малютка, сынъ его, кругомъ
На саблѣ прядаетъ верхомъ,
Въ немъ таетъ сердце ретивое,
Течетъ потокъ неслышныхъ слезъ . . .
Очнулся онъ . . . Дремалъ утесъ
И все окрестное въ покоѣ.

Топазъ.

Чу! звонъ копытъ! вставай, Кончакъ!
Намъ будетъ выгодное дѣло,
Готовь разрывчатой сайдакъ.
Ты видишь: Руской ѣдетъ смѣло!

Кончакъ.

Какъ жаръ подъ золотомъ броня,
Какъ макъ расцвѣлъ шеломъ хвостатой;
Одинъ уборъ его коня
Намъ будетъ славною заплатой.

Топазъ.

Не позабудь и крѣпость плечъ,
Не позабудь булатный мечъ!

Кончакъ.

Клянусь мечемъ, домой поскачетъ
Не празденъ удалой бѣгунъ!
Или жена меня оплачетъ,
И волкъ разгонитъ мой табунъ!

Топазъ.

Метнемъ-ка жеребій: не мнѣ ли
И первой бой, и главной пай?
Смотри: златницы полетѣли,
Падутъ — упали — выбирай:
Лицемъ копье или рѣшотка?

Кончакъ.

Постой — рѣшотка.

Топазъ.

Угадалъ,
Передъ тобой твоя находка!

Кончакъ.

Дождался я, чего желалъ.

Топазъ.

Знай, если путникъ на долинѣ
Не отдохнетъ въ полдневной жаръ,
Мы, изъ-за кампя, въ той стремнинѣ
Внезанный совершимъ ударъ.
Пора!

Исчезли. Высь кургана
Пустая днемъ озарена,
Незыблемы верхи бурьяна,
По холмамъ сонъ и тишина,
И мнилось, древняя могила
Сыновъ разбоя поглотила.

V.

И вотъ, гдѣ Лебедемъ рѣкой
Охваченъ круто лѣсъ дубовый,
Съѣзжаетъ Витязь молодой
И бросилъ повода шелковы
Плѣненъ пустынною красой.
Хребта Карпатскаго вершины
Пронзали синеву небесъ,
И оперялъ дремучій лѣсъ,
Его зубчатыя стремнины.

Обложенъ степенями горъ,
Расцвѣлъ узорчатый коверъ
Развитой по низу долины;
И вдаль — прелестенъ, одинокъ
Змѣился Лебедя потокъ;
Въ него плакучія березы
Роняли утреннія слезы,
И подъ наклонъ младыхъ ракитъ,
Подъ сѣнолиственныя ивы,
Потокъ задумчивый катитъ
Невидимо струи лѣнивы,
То померкая, то порой
Лучемъ измѣнчивымъ сверкая,
Онъ точно лента голубая
Подернутъ битью золотой,
И яръ песокъ, по оба края,
Лежитъ перловой бахрамой.

VI.

И грустно видитъ сей воитель:
Съ холма отшельниковъ обитель
Въ струяхъ глядится; но она
Разрушена, попалена,
И опустѣла отъ набѣговъ
Неукротимыхъ Печенѣговъ.
Вотъ съ утомленнаго коня
Спрянулъ, кольчугою звѣня;
Копье и мечъ и щитъ тяжелой
Слагаетъ на луку сѣдла,

Кругомъ, бредучею стопою,
Развалины обходитъ онъ:
Ихъ дикій плющъ со всѣхъ сторонъ
Облекъ узорной пеленою,
И сводовъ гордое чело
Травой и мохомъ поросло.
Вездѣ видна печать пожара,
Вездѣ рѣка его текла,
Здѣсь токи мѣди и стекла,
Тамъ своды треснули отъ жара,
Главъ нѣтъ; къ отверстымъ небесамъ
Какъ благовонное кадило
Шиповникъ льетъ свой ѳиміамъ,
И вѣетъ вѣтеръ легкокрылой
По онѣмѣвшимъ алтарямъ,
И тамъ, гдѣ благовѣсть моленья
Будилъ далекія селенья,
Все тихо, благодатный гулъ
Навѣкъ въ развалинахъ уснулъ.

VII.

Вступаетъ витязь на кладбище,
Усопшихъ братій пепелище;
Объятъ невѣдомой тоской,
Онъ сѣлъ на камень гробовой,
Повелъ задумчивые взгляды
Вдоль полурухнувшей ограды,
И такъ, опершися на мечъ,

Съ самимъ собой заводитъ рѣчь:
«О время, ангелъ истребленья,
Дѣяній, зданій старины!
Хоронишь ты въ стѣни забвенья
Великихъ мира и войны;
И лишь случайно, лишь украдкой
Одно изъ тысячи именъ,
Обломокъ на пути временъ,
Покрытый басенной догадкой,
Вѣкуетъ мѣтою племенъ.
Какъ звонъ трубы стихаетъ слава,
Какъ башня падаетъ держава.
И я.» Домолвить онъ не могъ,
Волнуетъ грудь зловѣщій вздохъ,
Упали долу взоры ясны;
И видитъ онъ, въ травѣ, въ пыли
Забытый черепъ на земли;
И обновленья сынъ прекрасный,
Небесъ летающій цвѣтокъ,
Надъ нимъ порхаетъ мотылекъ!...

VIII.

Какъ путнику, по ночи хладной,
Сквозь пологъ дожденосныхъ тучъ
Блистаетъ первый солнца лучъ,
Даря надеждою отрадной:
Такъ, убѣжденьемъ озаренъ,
Въ душѣ своей мечтаетъ онъ:

«На свѣтѣ нѣтъ уничтоженья;
Вездѣ истлѣнія звѣно
Рукой святаго Провидѣнья
Съ перерожденьемъ сцѣплено.
Въ цвѣту конечно тлѣнъ таится,
Но въ тлѣнныхъ зернахъ спѣетъ плодъ,
И небо росу имъ лѣетъ;
И жизнь и смерть потокомъ недъ
На лоно вѣчности катится.
Упали стѣны — грозный слѣдъ
Людей и времени побѣдъ;
Промчалось гибельное пламя
По сводамъ тихаго жилья...
Но вѣетъ обновленья знамя
Надъ ними вѣткой былія;
И корнемъ плиту разрывая
Взбѣгаетъ ясень молодая...

IX.

Такъ рано ль, поздно ли, съ коня
Сорветъ кончина и меня;
Въ сосновыя одѣнетъ латы,
Въ могильный уберетъ шеломъ,
И подземельныя палаты
Задвинетъ каменнымъ щитомъ,
И слава имени Романа,
Какъ съ дальнихъ горъ вѣнецъ тумана,
Растаетъ, высохнетъ росой!...

Но какъ на башнѣ дубъ зеленой,
Какъ цвѣтъ надъ мертвой головой
Я расцвѣту, и славы бренной
Покинуть прахъ не захочу;
Подобно чистому лучу,
Купаясь въ наслажденьяхъ новыхъ,
На ясныхъ крыльяхъ мотыльковыхъ
Прочь улетитъ душа моя
Въ семинебесные края!»
Всталъ витязь, хладною струею
Лице горящее омылъ;
Потомъ заботливой рукою
Копя изъ шлема напоилъ,
Уздечку снялъ, и конь на волѣ
Муравку щиплетъ въ чистомъ полѣ.
И вотъ, склонясь передъ мечемъ,
Творитъ обычныя молитвы;
И сладостно вкусилъ потомъ
Добычу утренней ловитвы;
И на роскошную траву,
Въ тѣни черемхи благовонной,
Отягощенную главу
Склонилъ воитель утомленной,
И на нее слетаютъ сны
Подъ шумъ ключей, подъ стукъ желны.

X.

Проснись! убійца надъ тобой,

Неслышной мѣдяницей вьется,
Сверкаетъ сталью роковой!, ..

Кончакъ.

Онъ крѣпко спитъ!

Тоназъ

И не проспется!
Однако ты, храня доспѣхъ,
Руби по шеѣ обнаженной:
Цѣннѣй и соболиный мѣхъ
Нигдѣ стрѣлами не пронзенной.
Не промахнись, товарищъ мой,
На похвальбу родному краю;
А я поспѣшною рукой
Коня Боярскаго поймаю!»
Вскипѣло сердце Кончака:
Онъ, блескомъ золота плѣненной,
Подобно волку въ два прыжка
Достигнулъ жертвы усыпленной.

XI.

И между тѣмъ въ зловѣщемъ снѣ
Романъ несется на конѣ,
Въ одеждѣ легкой звѣролова:
Одинъ въ заповѣдныхъ лугахъ
Онъ травитъ буйвола княжова;
Уходитъ звѣрь въ его глазахъ,
И, по слѣдамъ напрасно лая,
Отстала выжлица лихая;

Но все быстрѣй, впередъ, впередъ,
Охотникъ смѣлый наддаетъ,
И въ лѣсъ подъ Кіевомъ дремучій
Усталый волъ его ведетъ
Сквозь мракъ елей, сквозь терн колючій,
И мыслитъ онъ: «Ты мой теперь!»
Ужъ поразить буйтура хочетъ...
Вдругъ сталъ освирѣпѣлый звѣрь,
Реветъ, о камень роги точитъ,
Съ ноздрей огнистый паръ летитъ,
И пыль столбомъ изъ-подъ копытъ,
И эхо по лѣсу грохочетъ;
Сразились, — смерть невдалекѣ;
Споткнулся конь — булатъ въ рукѣ,
Въ груди стенанье замираетъ
И злобно падшаго врага
Подъемлетъ буйволъ на рога,
И къ небу яростно кидаетъ!...
Летитъ, летитъ...

XII.

И новый сонъ
Его на крылья принимаетъ:
Свои дружины видитъ онъ.
Подъ занавѣсой ночи темной
Какихъ-то горъ синѣетъ высь;
О стягъ отечества огромной
Стоитъ онъ, грустно опершись;

И, съ тихой пѣснію прощальной,
Копьемъ добытое добро
Младые воины печально
Колчаномъ дѣлятъ серебро.
И близъ него, передъ шатрами,
Любитель браней и забавъ
Ликуетъ съ смѣлыми вождями
Князь Новагорода Мстиславъ:
Друзья Романа, какъ чужіе,
Сидятъ, не измѣнивъ лица,
И меду чаши круговыя
Обносятъ мимо пришлеца.
Но вотъ, съ насмѣшливой улыбкой,
Мстиславъ блѣдпѣя возстаетъ,
И витязю рукою зыбкой
Заздравный кубокъ подаетъ.
«Пей! молвитъ онъ, за дружбу нашу,
За неизмѣнную любовь!
За брата Всеволода вновь!»
Романъ взглянулъ въ златую чашу,
Въ ней кровь кипитъ, а не вино.
Вдругъ громъ ударилъ сквозь тумана
Въ черноалатое знамено,
И съ трескомъ рухнуло оно
На изумленнаго Романа!
По холмамъ грянулъ грозный кликъ,
Какъ воетъ боръ, какъ плещетъ море.
Дружины вопятъ: «Горе! горе!»

XIII.

Романъ испуганный возникъ,
Опасность видитъ и съ размаха
На встрѣчу кинулся безъ страха.
Схватились — прочь летитъ топоръ;
Плечо въ плечо, нога съ ногою,
Какъ два потока вешнихъ горъ,
Они сливаются борьбою.

Межь тѣмъ, покинувъ бѣгуна,
Спѣшитъ Топазъ на бой неравной;
Уже стрѣла наведена,
Грозя погибелью безславной . . .
Прочь, витязь! иль тройную сталь
Она сломаетъ какъ хрусталь!
Внимай! рога у лука взвыли,
Ударомъ тетива звучитъ,
Стрѣла пернатая свиститъ . . .
Кому-то пасть судьбы судили? . .
Падетъ, падутъ, какъ градъ въ грозу:
Вверху Романъ, Кончакъ внизу.
Стрѣла на вѣтрѣ пзмѣнила
Неотразимой свой полетъ,
И въ грудь собрату угодила;
Топазъ пустился на уходъ.
Межь тѣмъ, избавленный ошибкой,
Надъ умирающимъ склоненъ,
Внимаетъ съ мрачною улыбкой

Разбойника тяжелый стонъ,
И въ сердце жалость проникаетъ.
Онъ хочетъ павшему помочь
Напрасно! взоръ его смыкаетъ
Неразсѣтающая ночь!
Долину витязь покидаетъ.

XIV.

XV.

Всходила туча роковая
Надъ тихой Галича страной,
И закипѣлъ потокъ Дуная
Подъ Переяславской стѣной.
Какъ бранный щитъ, въ крови омытый,
Запало въ тѣнь свѣтило дня,
И одичалые граниты
Вдали сверкаютъ безъ огня.
Олень, испуганъ крыльевъ шумомъ,
Прянулъ съ Перуновой скалы,

И на челѣ ея угрюмомъ
Слетѣлись горные орлы;
Бушуетъ боръ, ущелье воетъ
И вихорь цѣпь Карпата роетъ,
И громъ катится вдалекѣ.
Но вотъ ярящимся Дунаемъ,
То видимъ, то опять скрываемъ,
Ловецъ плыветъ на челнокѣ.
Бѣлѣетъ парусъ одинокой,
Какъ лебединое крыло,
И грустенъ путникъ ясноокой;
У ногъ колчанъ, въ рукѣ весло.
Но, съ беззаботною улыбкой,
Летучей пѣной орошенъ,
Безтрепетно по влагѣ зыбкой
Порывомъ бури мчится онъ,
И внемлетъ приберегъ окольной
Напѣвы пѣсни произвольной:

XVI.

Пѣсня.

Покатись попутный валъ,
Заиграй мое вѣтрило:
Я на ловлѣ опоздалъ,
Не увижу Лады милой.

Стопетъ сизая волна
На раздолiи широкомъ:

Видно милая грустна
Въ пышномъ теремѣ высокомъ!

Воздухъ, бурею дыша,
Носитъ капли дождевыя:
Знать поплакала душа,
Знать журятъ ее родныя!

Только выйди на лужокъ
Мыться утренней росою;
Упаду, какъ голубокъ,
Передъ дѣвицей-красою?

Улетитъ любви гроза
Съ неба радостныхъ свиданій,
И съ лапитъ сойдетъ слеза
Отъ плѣнительныхъ лобзаній!

Счастья выглянетъ цвѣтокъ . . .
Валъ играй, лети челнокъ!

XVII.

Безумный! черпаетъ ладья,
Пловецъ! руби свое вѣтрило:
Пусть колыбель тебѣ — ладья;
Но бездна можетъ быть могилой.
Скорѣй! — Ужь поздно; заплескалъ
Надъ челномъ бѣлогривый валъ . . .
Прости веселіе столицы,

Любовь родныхъ, друзей мечты
И Лады свѣтлыя зеницы !
Еще простите ! — гибнешь ты !
Въ туманѣ городъ — брегъ далеко.

Летитъ ѣздокъ во весь опоръ.
Достигнувъ берега Дуная,
Презрѣвъ утесистую кругь,
Коня уздою понуждая,
Онъ скачетъ въ глубину прянуть.
Вотще ! уперся конь ретивой,
Храпитъ, крутится на дыбы
Но дерзокъ витязь — несчастливой
Не миновать ему судьбы ;
Ѣздокъ всѣ силы напрягаетъ,
Стремитъ — и снова поскакавъ
Съ утеса падаетъ стремглавъ,
И шумно въ брызгахъ исчезаетъ.

XVIII

Гдѣ — гдѣ, потокомъ унесенъ,
Возникъ онъ, бронею сверкая.
И вдаль плыветъ на тихій стонъ,
Со шлема влагу отрясая ;
Перунъ окрестность озарилъ,
Онъ тамъ ; онъ юношу схватилъ
И вспять ! Подъ ношею двойною

Погрузнувъ добрый конь храпитъ,
Валы ревутъ надъ головою,
Вода въ ушахъ его журчитъ;
Надъ нимъ летаютъ смертны тѣни,
Не вѣдалъ витязь удалой,
Тебя стремя въ пылу сраженій
Неотразимою стрѣлой,
Не мнилъ, чтобъ влажная могила
Твой быстрый бѣгъ ужоротила.
Спасайся, витязь! нѣтъ коня,
Грузна кольчатая броня.
Покинь-ловца на Божью волю,
Тебѣ съ нимъ къ брегу не доплыть! . . .
Но нѣтъ! ты хочешь раздѣлить,
А не оплакать злую долю.
Обнявъ утопшаго, пловецъ
Гребетъ въ усиліи усталомъ;
И тяготѣя какъ свинецъ,
По немъ катится валъ за валомъ;
Ужъ цѣпенѣющая грудь
Едва взрываетъ пѣнный путь;
Напрасно дланью безполезной
Раздвинуть хочетъ онъ волну,
Онъ поглощаемъ алчной бездной,
Готовъ погрузнуть въ глубину;
По берегъ близко — въ лонѣ тучи
Проторгся молніи потокъ,
И мутный валъ, какъ змѣй шипучій

Извергъ обоихъ на песокъ;
Тамъ полумертвы, утомленны,
Лежатъ спаситель и спасенный.

XIX.

Но вотъ по берегу спѣшитъ
Бояринъ, гдѣ-то запоздалый,
Его заботливъ грозный видъ,
Бѣлѣетъ пѣной конь усталый,
И шапку приподнявъ рукой,
Съ нимъ рядомъ скачетъ стремянной
Въ лице имъ, градомъ поражая,
Вихрь опашни сдуваетъ съ плечъ,
Но всадники, не замѣчая
Между собою держатъ рѣчь:

Боярин.

Благодарю за добры вѣсти,
Нашъ заговоръ идетъ на ладъ:
Что Любомиръ свершитъ изъ мести,
Оплай за деньги сдѣлать радъ.
Но что поетъ медлитель вѣчный
На это Янъ, племянникъ мой?

Стремянной.

Онъ шлетъ къ тебѣ поклонъ сердечный
И тайной подвигъ роковой
Желалъ бы раздѣлить съ тобой . . .

Боярин.

Да не желаетъ? Все возможно
Тому, кто дерзостенъ не ложно.

Стремянной.

Что будто ратники его
Далеко разбрелись по краю;
Что онъ на князя своего
И самъ бы прямо по Дунаю
Къ тебѣ душою прилетѣлъ . . .

Боярин.

Слова безъ дѣлъ, что лукъ безъ стрѣлъ!
Не души, а мечи намъ нужны.
Ничтожный трусъ! но почему
Ты не открылъ союзъ окружный
Въ словахъ заманчивыхъ ему?
Нашъ кругъ великъ, друзья надежны,
Къ намъ шайки Половцевъ идутъ,
И Польскіе паны вельможны,
Охотно руку подаютъ.
И ждетъ блестящая награда
Бояръ — сторонниковъ Всеволода;
Онъ самъ съ полками Кіевлянъ
Обляжетъ городъ какъ туманъ;
Андрей падетъ, получитъ снова
Санъ тысяцкаго Любомиръ;
И власть друзьямъ моимъ готова
И шумный пиръ на цѣлый міръ.

Стремянной.

Я говорилъ ему все это;
Но сердце замкнутое льдомъ,

Надеждою не разогрѣто.
Совѣтуетъ, любя твой домъ . . .

Бояринъ.

Не домъ мой, клѣть свою онъ любитъ;
Но я совѣтовъ не люблю;
Пусть только Всеволодъ затрубитъ
Племянничка повеселю;
Кто не подастъ мнѣ длани братней,
Не уцѣлѣетъ въ голубятнѣ!
Я врагъ приятелямъ такимъ!

XX.

Стремянной.

Всего сильнѣй его пугаетъ,
Что князь гражданами любимъ.

Бояринъ.

Трусъ и во снѣ бѣду встрѣчаетъ!
Зачѣмъ такимъ людямъ дано
Копье, а не веретено?
Ужель не вѣдаетъ причины
Моихъ надеждъ племянникъ мой?
Скучаютъ смѣлыя дружины
Миролюбимостью княжой.
Имъ нѣтъ бывалаго раздолья
Отъ поселянъ и отъ нацолья;
Въ бѣдѣ ихъ не любовь страшна;

Любовь народа не сильна :
Народъ на воздухъ рѣчи тратитъ,
Но вѣчно стерпитъ, все заплатитъ,
Надеждой перемѣны сытъ.
По Янъ пугливѣе синицы,
Когда военной славы щитъ
Смѣнялъ на блюдо чечевицы !
Нѣтъ проку смѣлому въ роднѣ ;
И коловратная судьбина,
Какъ будто насмѣхаясь, мнѣ
Такогожъ даровала сына :
Онъ любитъ жить по старинѣ,
О дѣвахъ пѣть, звучать струною,
А не наѣздной тетивою ;
Ему чужая месть моя :
Онъ князя любитъ, князь дышитъ,
Ему онъ вторитъ, имъ онъ слышитъ !
Отъ сына утаился я.
Онъ на конѣ узнать успѣетъ,
Когда гроза вполнѣ созрѣетъ
Онажь близка — ее зову
Къ себѣ въ мечтахъ и наяву.
Внимай ! чуть мѣсяцъ златорогой
Потонетъ въ небѣ голубомъ,
Непроторенною дорогой,
Гдѣ стременемъ, гдѣ колесомъ
Ты оскачи друзей кругомъ.
Скажи имъ вѣстовое слово :

»Мечемъ помѣряться пора:
Въ Переяславлѣ все готово
На праздникъ Павла и Петра:«
Тогда съ разсѣянной дружиной
Пускай они со всѣхъ сторонъ,
На пиръ стекутся изнеможенной
Младому князю на поклонъ.
И въ сердцѣ радостнаго града,
Въ кругу пирующихъ гостей
Сверкнетъ булатъ — гроза вождей,
Съ нежданнымъ кликомъ: »За Всеслава!«
И кровь, и пламя, и набатъ,
Паденье князя возвѣстятъ!

XXI.

Утихло. Мутные потоки
Шумятъ, промоины бразда;
Благоухая лѣсъ далекій
Слезится каплями дождя.
Лилеи въ красотѣ обновки
И скромныя *петроны жена*
Подъемлютъ свѣжія головки.
Вдругъ путникъ осадилъ коня;
»То не мечталь воображенья,
Или очей моихъ обманъ?
Передо мной, какъ привидѣнья,
Двѣ тѣни сквозь ночной туманъ
Текутъ невѣрною стопою . . .

Одинъ въ бронѣ; къ его плечу
Другой поникнулъ головою!
Я съ ними свѣдаться хочу
Иль по кресту, иль по мечу!
Домчалися тропой знакомой.
Имъ въ очи Любомиръ глядитъ . . . .
И кто же витяземъ ведомый?
То сынъ его то — Свѣтовидъ!
Но прежде пышныя ланиты
Завѣсой блѣдности покрыты;
И съ волотыхъ его кудрей
Вода сбѣгаетъ какъ ручей!

XXII.

Какъ сына милаго утѣшно,
Какъ нѣжно въ радости своей
Лобзаетъ Любомиръ посѣщной,
И вдругъ чувствительность сокрывъ,
Чело въ суровость облекаетъ;
Любви отеческой порывъ
На кроткой выговоръ мѣняетъ;
Но льются плавною рѣкой
Спасителю благодаренья.
Склонился воинъ молодой
На искренніе предложенья,
И весело они, втроемъ,
Спѣшатъ въ гостепріимный домъ.
Сверкаютъ имъ сквозь сумракъ парной
Церквей злачепые кресты,

И озаряетъ лучъ янтарной
Переяславля высоты,
И вотъ стѣна его за нами.
Внимая лаю чуткихъ псовъ,
Они проулками пустыми
Текутъ посереди садовъ.
Уже вблизи на домъ красивой
Лучина яркой свѣтъ лiетъ
И у рѣшетчатыхъ воротъ
Мать нѣжная нетерпѣливо
Избавленнаго сына ждетъ.
И вотъ на грудь свою прiяла
Надежду, свѣтъ ея очей,
И восхищенная взрыдала,
Забывъ привѣтствовать гостей.
И надъ покорною главою,
Отрадной, сладостной рѣкою
Струи чистѣйшихъ слезъ текли . . .
О радости невинной слезы!
Вы перлы на земной ныли,
Вѣнокъ росы на почкахъ розы,
Поминка неба на земли
Съ тѣхъ поръ, какъ ангельская сила,
Звѣздой падучей съ высоты
На землю юную сходила
По зову тлѣнной красоты!

XXIII.

Они ступенями рѣзными

Идутъ на красное крыльцо,
Привѣтомъ брякнуло кольцо
И набожно передъ Святыми
Творятъ поклоны пришлецы.
Блестя каменьями цвѣтными
По образамъ горятъ вѣнцы
Среброчеканнаго оклада;
И блѣднымъ теплится лучемъ
Неугасимая лампада,
Какъ мѣсяцъ на небѣ ночномъ.
Вкругъ стѣнъ широкія бесѣды
Хрущатой обвиты камкой,
И по коврамъ висятъ грядой
Доспѣхи ловли и побѣды,
Уборы дикой красоты:
Мечи, багряные щиты,
И самострѣлы и колчаны;
Тамъ блещетъ боевой топоръ,
Тамъ шестоперы и чаканы,
Тамъ витязя дивитъ узоръ
По шлему золотой насѣчки,
То многоцѣнныя уздечки,
То зброи жемчугомъ наборъ.

XXIV.

Межъ тѣмъ для гостя дорогова,
Храня обычай старины
Ужь баня пышная готова;

Ковры стезей разостланы,
И распахнулась дверь тесова;
Уже привѣтливо журча,
Въ дыму, алмазами сверкая,
Въ чанъ кипарисной два ключа
Падутъ, и жаръ и хладъ сливая.
На каменку шипучій медъ
Волной обильною течетъ
И дышитъ съ камней млечной тучей
Паръ, благовонный и летучій,
Вѣнцомъ объемля огонекъ.
И вотъ, увлаженный парами,
На нѣгу томную полокъ
Манитъ душистыми травами;
Березы вѣтьви сладкій зной,
Какъ опахаломъ, навѣваютъ,
Всѣ члены, льстимые рукой,
Въ благоуханной пѣнѣ таютъ,
Онъ сходитъ внизъ, огнемъ горя;
Изъ чаши бронзовой отрадно
Течетъ на грудь богатыря
Рѣка воды струею хладной,
И путникъ свѣжъ выходитъ вонъ,
Какъ мѣсяцъ моремъ возрожденъ.

XXV.

Опять онъ въ горницѣ красивой;
Ему лилейною рукой

Сѣнная дѣвушка стыдливо
Подноситъ гребень золотой.
За ней идетъ хозяйка дома
Въ жемчужной кикѣ, въ серезахъ,
Въ лицѣ ея видна истома,
Но доброта въ ея очахъ,
Любовь ко сыну, къ мужу страхъ.
Смиренно кланяясь, подходитъ
Къ Роману съ чарою вина,
Откушать проситъ, и заводитъ
Слова привѣтныя она:
Повѣдай: волей иль неволей,
Иль молодецкою охотой,
Иль буйнымъ вѣтромъ занесенъ
Въ Переяславль съ какихъ сторонъ?
Кто ангелъ твой? кто твой родитель?
Да знаемъ гостя величать,
Да возмогу тебя, воитель,
Въ своихъ молитвахъ поминать?
Романъ отвѣтствуетъ ретиво:
Прости, боярыня, меня,
Что отложу отвѣтъ правдивой
О томъ до будущаго дня.
Сказать кто я — теперь не смѣю,
Лгать не могу и не умѣю!

XXVI.

Склонивъ къ супругѣ мрачный взоръ

Боярин входитъ въ разговоръ:
Храни, о витязь, имя тайно:
Какое дѣло вѣдать мнѣ,
Съ намѣреньемъ или случайно
Ты сталъ на нашей сторонѣ;
Мой гость — мой братъ; ему обида
Обида мнѣ: но ты одинъ
Младой хранитель Свѣтовида
Здѣсь полномочной властелинъ.
Подъ тѣнью крова Любомира
Какъ подъ щитомъ своихъ дружинъ
Ты невредимъ отъ злобы міра,
Хотя бы, гнѣвомъ распалясь,
Тебя преслѣдовалъ самъ князь.
Дай руку мнѣ, пріятель новой;
Вотъ хлѣбъ и соль, чѣмъ Богъ послалъ.
Богато убранъ столъ дубовой
И брызжетъ дѣдовскій бокалъ.
Ужь беззавѣтными рѣчами
Сердца отверсты; медъ кипитъ
И неразлучными друзьями
Встаютъ Романъ и Свѣтовидъ.
И гостю на медвѣжьей кожѣ
Походное готовятъ ложе.
Но между тѣмъ пѣвецъ младой
За гусли звонкія садится,
И звукъ подъ легкою рукой
За перекатами струится

Звучнѣй, звучнѣй, и съ ними въ ладъ
Стихи небрежные звучатъ

XXVII.

Успоко»йся, путникъ юный,
Ты разбитъ и утомленъ;
На тебя златыя струны
Назвѣнятъ глубокій сонъ.

И приникнувъ къ изголовью,
Сновидѣній красота
Обойметъ тебя съ любовью
Тихокрылая мечта.

Чаровница за собою
Уманитъ и уведетъ:
Ступишь легкою стопою
На коверъ на самолетъ.

И завѣтною долиной
Вдаль за тридевять земель,
Съ быстротою соколиной
Упорхнетъ душа отсель.

Вкуситъ витязь черноокой,
На брегу родимыхъ струй,
Отъ красавицы жестокой
Полуданной поцѣлуй!

Иль внося побѣду въ сѣчу

Вытортнетъ твоя рука
Знамя — гибели предтечу
Изъ желѣзнаго полка! »

Звонъ гуслей тихо замираетъ,
Какъ будто лѣтній вѣтерокъ
Плѣненный розою, вздыхаетъ;
Какъ будто ропотный потокъ
Брега жемчужные лобзаетъ.
Задернутъ пологъ кружевной
Гостепріимною рукой.
Какъ льется мгла росою ночи
На жаждущій отъ зноя макъ,
Дремота канула на очи
Усталаго пришельца. Такъ
Онъ, свѣтлой совѣстью хранимый,
Вкушаетъ сонъ невозмутимый.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Бывало, чуть ранней зарею востока
Зарумянится водъ переливный хрусталь
И сокрытый въ лозахъ надъ струями потока
Соловей огласитъ поднебесную даль,
Съ соколомъ на рукѣ молодые бояра,
Иль со сворой борзыхъ, при златомъ стременѣ,
Въ ловитвѣ носилися, полные жара,
По доламъ, по горамъ, на могучемъ конѣ.
Въ палаты княжія сквозь занавѣсъ алой
Чуть яркое солнце, казало лицо,
Возставъ ото сна, князь удѣльный, бывало
Съ дружиною гридней ступалъ на крыльцо;
Тамъ правду творя виноватымъ, невиннымъ,
Онъ въ совѣтѣ бояръ и начало-вождей
Судилъ и рядилъ по законамъ старинным,
Допуская народъ до пресвѣтлыхъ очей.

Охота.

I.

Блаженъ стократъ, на чьи зеницы
Дыханье милой сводитъ сонъ;
Блаженъ, кто въ сумракѣ денницы
Привѣтомъ друга пробужденъ!

Святовидъ.

Востань, Романъ, отъ ложа нѣги,
На утро свѣжее взгляни!
Твои стрѣльцы, твои кони
Пришли на новые ночлеги,
И жаждутъ зрѣть тебя они.
Сіяетъ солнце: манятъ въ поле
Волнистыхъ озимей бразды;
Давно ужь пѣсню милой волѣ
Поютъ веселые дрозды;

Давно малиновка в чечеть
Росой медвяной напилась;
Летунья ласточка щебечетъ,
Вкругъ башенъ рѣя вверхъ и внизъ;
Взлетаетъ жавронокъ игривый
За облака подъ небосводъ,
И новымъ блескомъ дня счастливый,
Ловцамъ заутреню поетъ.
Но милый странникъ мой готовъ ли
Дѣлить со мной потѣху ловли?

II.

Романъ.

Нѣтъ, нѣтъ, плѣнительный ловецъ
Любовныхъ, дружескихъ сердецъ!
Не въ темный лѣсъ, а къ князь Андрею
Веди посланникомъ меня.
Въ рѣчахъ судьбу князей храня,
Въ сей день я миръ рукой моею
Скрѣпить или разорвать имѣю.
И вотъ на пламенномъ конѣ,
Блистая въ златѣ, какъ въ огнѣ,
Онъ ѣдетъ въ шитой однорядкѣ.
За нимъ стрѣлковъ охранный строй,
Развитый лентою цвѣтной,
Летитъ въ торжественномъ порядкѣ.
Романа за городъ ведутъ,

На поле мести, въ Божій судъ.
Но случай, малица и сила
Сраженье совѣсти рѣшила.
И возвращается Андрей
Въ толпѣ, надъ радостнымъ Дунаемъ,
Одинъ, любовью охраняемъ,
Безъ латъ и копій и мечей.
Не въ блескѣ праздничнаго хода,
Не въ шумѣ дворской суеты,
Но какъ отца въ семьѣ народа
У вратъ суда и правоты,
Посолъ встрѣчаетъ князь Андрея.
И гдѣ, скажите, видѣлъ взоръ
Земныхъ царей дворецъ иль дворъ
Сего достойнѣй и пышнѣе?
Предъ княземъ на землю ступивъ,
Три краты голову склонивъ,
Такъ говорилъ боярин смѣлой:

III.

Князь Всеволодъ! Олега сынъ,
Великій князь и властелинъ
И обладатель Руси цѣлой,
Тебѣ, какъ братъ, любовно шлетъ
Въ моемъ поклонѣ свой привѣтъ?
Онъ хочетъ знать, за чѣмъ съ Дуная
Лишь ты одинъ до сей поры,
Обычай предковъ презирая,

Къ нему забылъ послать дары?
Но заключа добро въ булатѣ,
Мой князь не думаетъ о златѣ,
Лишь гнѣвенъ онъ, что ты одинъ
Къ нему не выставилъ дружинъ.

К. Андрей.

Бояринъ! еслибъ на престолѣ
Призналъ я князя твоего,
Я бъ и тогда княжилъ по волѣ,
А не по прихоти его.
Но я ли робко и постыдно,
Забывъ родныхъ удѣлъ обидной,
Его признаю надъ собой,
Когда, безъ повода, безъ права,
За Ярополкомъ Вячеслава
Съ престола свергнулъ онъ долой?
Но я ли стану, лицемѣря,
Душой играя, цѣловать
Союза крестъ, въ союзъ не вѣря?
Того ль мнѣ братомъ называть,
Кто Ярополка потаенно
Закинулъ въ плѣнъ иноплеменной?

IV.

Романъ.

Нѣтъ, нѣтъ, Всеволодовой души
Презрѣнные обманы чужды!

Безсильный крадется въ тиши,
Могучимъ нѣтъ въ коварствѣ нужды.
Твой братъ — молвою ослѣпленъ
Поляками самъ отдался въ плѣнъ.

К. Андрей.

Я вѣрю, я желаю вѣрить,
Что въ этомъ онъ не виноватъ:
Но позабыть, или измѣрить
Я не могу, хотя бы радъ,
Позоръ моей обиды кровной.....
Мои ли братья, въ наши дни,
Иль онъ, зажегъ вражды огни?

Романъ.

Соперники — невинны ровно,
Хоть розно счастливы они:
Всеволодъ воздвигъ свои знамена,
Какъ сынъ старѣйшаго колѣна,
Онъ общимъ гласомъ Кіевлянъ
Главою Русичей избранъ.
И не всегда ль рѣшаетъ снова
Права князей судьбина сѣчь,
И не вездѣ ль вѣнца княжова
И предокъ и наслѣдникъ мечъ?

К. Андрей.

Пускай же будутъ въ дѣлѣ этомъ
Твои слова моимъ отвѣтомъ:
Когда булатъ ему судья,
Когда ему хищенье слава,

То я могу, и долженъ я
Стоять за честь роднаго права

Романъ.

Давно ль поставили Князья
Превыше долга связи рода?
Для нихъ ли Русской воевода
Отринетъ славную войну
За нашихъ праотцевъ страну?

V.

К. Андрей.

Посолъ, души своей цѣну
Заплатимъ мы за кровь народа!
Для ней не только славу, месть
Забылъ я хищинку нанесть.
И знай, что за стѣнами града
На бой готовъ, но миръ любя,
Я не возстану на Всеслава,
Ни за него, ни для себя;
Плѣненъ забавою жестокой,
Не поведу я въ край далекой
Красу Дунайскихъ ратныхъ силъ
Искать безвременныхъ могилъ;
Не заслужу и укоризны,
Когда въ пылу замыслитъ онъ
Завоеваніе отчизны,
Чужою силой облеченъ.

Романъ.

Питая мужество, напрасно
Онъ дышетъ мыслію прекрасной
Завѣрить Русской сторонѣ
Покой оружіемъ извнѣ!
Взгляни, въ киченіи досуга,
Теперь удѣльные князья
Воюютъ братніе края,
Куютъ крамолы другъ на друга,
Враговъ скликая вновь и вновь,
Какъ черныхъ вороновъ на кровь!
Дни поселянъ миролюбивыхъ
Въ войнахъ князей сокращены;
Пылаютъ кровы селъ красивыхъ;
По жатвамъ бродятъ табуны;
Довольство гибнетъ, вянутъ силы,
Ростутъ не грады, а могилы
И близки — въ шумѣ вѣчныхъ ссоръ
Отчизны гибель и позоръ!
Чтобъ удалить сіи напасти,
Князей смирить и умирить,
Онъ хочетъ Русь соединить
Подъ крыльями верховной власти.

VI.

К. Андрей.

Видалъ ли ты, какъ черный дымъ

За чистымъ пламенемъ крутится?
Такъ властолюбіе таится
Подъ симъ намѣреньемъ святымъ.
Конечно, еслибъ мужъ великій,
Заслугой — родины отецъ
Возникъ надъ Русью полудикой . . .
Тогда мой княжескій вѣнецъ
Я первый бы, какъ сынъ покорной,
Къ его стопамъ сложилъ безспорно.
Но чѣмъ, скажи, твой новый князь,
Успѣхомъ дерзости гордясь,
Привлекъ народное вниманье? . . .
Или за слезы и за кровь
И правъ священнѣйшихъ попранье
Дается вѣра и любовь? . . .
Но расточая лести соты,
Меня ль онъ уловить хотѣлъ
Въ давно знакомыя тенеты
Блестящихъ словъ и черныхъ дѣлъ!

Романъ.

Не посланъ я съ тобой судиться;
Не мнѣ рѣшать, тебѣ рѣшиться:
Въ послѣдніе тебя зову
Признать Всеслава за главу.

К. Андрей.

Въ послѣдній разъ я отвѣчаю,
Не признаю и не признаю!

Переяславцамъ не война,
А дружба Кіева страшна.
. . . . . .
. . . . . .

Романъ.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . Все такъ, но что же будетъ,
Когда мой князь къ тебѣ прибудетъ
Конями выпоить Дунай . . .

К. Андрей.

За правду Богъ! не угрожай! . . .
На утро въ мой дворецъ прибрежной
Я созову бояръ въ совѣтъ
Скрѣпить, вручить тебѣ отвѣтъ . . .
. . . . . .
. . . . . .
Рѣшились; болѣе ни слова

VII.

И вотъ ведутъ коня лихова
Ясельничіе подъ устцы.
Вдыхая вѣтръ, онъ бурей пышетъ,
Онъ подъ собой земли не слышитъ!
»Стой, птичка, стой! « Недвижимъ конь;
Узду грызетъ, ушми играетъ,

Какъ будто всадника внимаетъ,
Въ глазахъ покорности огонь,
И князь, трепля по стройной выѣ,
Беретъ поводья золотые,
Садится медленно въ сѣдло.
Конюшій оправляетъ стремя,
Младой сокольникъ въ то же время
Съ поклономъ сокола даетъ
И поѣздъ двинулся впередъ.
Красуясь гордыми конями,
Дворяне мѣрною стопой
Съѣзжаютъ въ улицу рядами,
Гремя по звонкой мостовой.
При вѣтрѣ попоны вѣютъ,
Одежды радугой пестрѣютъ,
Мелькаетъ гридней шумный рой.
Спѣшатъ довольные граждане,
Въ толпѣ прелестныхъ дѣвъ и женъ,
У князя добраго заранѣ
Почетной выманить поклонъ;
И старцы, духомъ молодые,
Съ слезами радостныхъ очей
Подъемлютъ на руки дѣтей
Полюбоваться на Андрея!
Казалось, окна говорятъ,
Одушевленныя народомъ;
И голубымъ колебля сводомъ,
Благословенія летятъ,

И вторитъ кликамъ клинъ отвѣтной,
Стѣной зубчатой отразясь:
»Да вѣчно здравствуетъ нашъ князь!«
И въ обѣ стороны привѣтно
Андрей съ улыбкою чела
Склоняется къ лукѣ сѣдла,
И опѣняя удила,
Ретивый конь, взвѣвая гривой,
Мѣняетъ ходъ нетерпѣливой.
И всѣхъ перевышалъ Андрей
Красою, крѣпостію тѣла;
Къ нему и женъ любовь летѣла,
И упованіе мужей.
Такъ манитъ взоръ въ вѣнцѣ зеленомъ
Веселіе точащій гроздъ;
Такъ величаво небосклономъ
Восходитъ мѣсяцъ въ хорѣ звѣздъ.

VIII.

Внимая сердцемъ гласъ народный,
Съ улыбкой скромной добрый князь
И съ откровенностью свободной
Къ Роману молвилъ, обратясь:
Хвала народа мнѣ услада;
И мнѣ ль, Романъ, страшиться золъ?
Ему опора мой престолъ,
А мнѣ — любовь его ограда!
Она всѣхъ дѣлъ моихъ печать;

Она умѣетъ услаждать
Мои заботы и досуги.

Романъ.

. . . . . .
. . . . . .

Прости мнѣ смѣлость; шумный станъ
Меня взлелѣялъ къ правдѣ пылкой;
. . . . . .
. . . . . .

И у меня князьямъ привѣтъ
Низать, какъ жемчугъ, дара нѣтъ.
Не рѣдко этотъ шумъ и клики
Являютъ странника уму
Дань облаченію владыки,
А не порывъ любви къ нему!

IX.

Андрей.

Такъ — не одно съ молвою тихой
Молва науличныхъ рѣчей.
. . . . . .
. . . . . .

И лести искуситель-змѣй,
Даря безвременною славой
За доблести, которыхъ нѣтъ,
На столько дѣлъ, — желаній цвѣтъ
Сражаетъ сонною отравой;
Льстецы, какъ трутней жадный рой,

Изъ самолюбія, изъ страха,
Изъ горсти золотаго праха,
Предъ княземъ ползаютъ душой,
Его порочнѣйшія ковы
Хвалить и совершать готовы.
Ихъ лесть я оцѣнилъ. Мой дворъ
По волѣ и неволѣ знаетъ,
Что низость князя унижаетъ,
Что безъ заслугъ хвала — укоръ
И, вѣришь ли, порой досуга,
Забывъ придворныхъ суету,
Я вырываюсь за черту
Ихъ очарованнаго круга;
И чувствъ народныхъ простоту
То вызываю, то внимаю
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Такъ, въ дѣлѣ правды вѣрю я,
Враги намъ лучшіе друзья!

X.

Знакъ поданъ; быстрая охота,
Полетъ готовя соколамъ,
Разсыпана по берегамъ
Вблизи дремучаго болота;

И взоры всѣхъ и мысли тамъ,
И все молчитъ. Вотъ песъ слѣдничій,
Гонитель злой пернатой дичи,
Въ потокъ бросается стремглавъ;
По тростникамъ перебираясь,
То перескоками, то вплавь.
Идетъ, на ловчихъ озираясь.
Но ловъ послыша падали,
Угрюмыхъ тундръ жилецъ пустынный,
Взлетѣла цапля отъ земли,
Назадъ простерши ноги длинны.
Свистокъ! — и съ путою златой
Спадаютъ шапочки долой.
Поражены лучемъ денницы,
Расширивъ ясныя зрачки,
И отрясаясь, хищны птицы
Не вдругъ кидаются съ руки.
И первый соколъ князь Андрея,
Добычь узрѣвъ кадалека,
Стрѣлой взвился подъ облака,
Свистящими крылами рѣя,
Все вверхъ и вверхъ, и наконецъ
Ударилъ въ цаплю, какъ свинецъ.
Но скорость силы безполезной
Встрѣчаетъ клевъ ея желѣзной,
И съ облаковъ на тихій долъ
Пронзенный падаетъ соколъ.
Отъ Любоміра всходитъ мститель

Въ воздушную громовъ обитель,
Смѣлѣй, быстрѣе мысли онъ;
Несется, плаваетъ кругами,
Стоитъ... упалъ... взмахнулъ крылами
Бьетъ снизу вверхъ — и бой рѣшонъ!
Роняетъ цапля кровь и стонъ,
И тихо предъ толпою праздной
Падетъ чертой винтообразной.
Бояринъ гордый, соколу
Похвальные внимаетъ клики,
И восхищенья пламень дикій
Играетъ по его челу,
И князю о паденьи скоромъ
Онъ предвѣщаетъ грознымъ взоромъ,
Какъ будто птицъ гадальный бой
Вѣнецъ побѣды роковой.

XI.

Не мнѣ представить цѣпью длинной
Въ живой картинѣ пышныхъ словъ,
Удачи ловли соколиной
И удальство младыхъ ловцовъ,
И въ дебри дальной и пустынной
Подъ ясенями древнихъ лѣтъ
Княжой охотничій обѣдъ!
Какъ умъ гостей, вино сверкало
И словно радость утекало,
И вечерѣлъ незримо день;

Хладѣя, солнце разливало
Въ долинахъ роскошную тѣнь.
Въ обратный путь охота снова
На травлю псовую готова.
Романъ и юный Свѣтовидъ
Съ какой-то нѣгою неполной
Сдержавъ коней страны подольной
Прелестный созерцали видъ:
Все тихой радостью дышало,
Улыбкой небо разцвѣтало,
И всюду тишина была;
Лишь запоздалая пчела
Свое жужжанье надъ цвѣтами
Сливала съ дальними звонами;
Березы, свившись въ хороводъ,
Поляну купами обстали,
И горлицы подъ ропотъ водъ
Въ тѣни дубравной ворковали,
Напоминая сердцу вновь
Покой и дружбу и любовь.

XII.

Романъ.

Питомецъ звучныхъ пѣснопѣній!
Не по мечу, по сердцу братъ!
Я не дивлюсь, что томный взглядъ
Очей твоихъ являетъ тѣни
Блестящихъ мыслей и видѣній!

Кого не воспламенитъ обзоръ
Твоихъ величественныхъ горъ!

Свѣтовидъ.

Такъ, милый другъ, отъ колыбели
Нагорный звукъ плѣнялъ меня
Пастушьей утренней свирѣли!
И чудомъ отрока маня,
Мнѣ повѣсти и пѣсни пѣли:
О былинахъ минувшихъ дней,
О подвигахъ богатырей.
И я любилъ во тмѣ гаданья
Старинныхъ доблестей черты,
Невѣроятныя преданья,
Неисполнимыя мечты!
И сладостны и святы были
Мои въ дыханіи весны
Очаровательные сны!
Они въ тотъ край меня носили,
Гдѣ спѣетъ яблокъ золотой;
Гдѣ вьются райскія жаръ-птицы,
И домъ русалки молодой,
Въ волнахъ растопленной денницы
Сліянъ изъ граней хрусталя;
Цвѣтутъ рубиновыя поля,
Огни блуждаютъ златорунны
И неземныя дышутъ струны
Все это видя и внемля,
Въ восторгѣ пѣсней бредилъ я!

XIII.

Я возрасталъ; мои мечтанья
Росли невидимо со мной.
Мои любимыя гуланья
Бывали тамъ, гдѣ мракъ лѣсной,
Гдѣ гребень горъ возникъ порогомъ
Предъ небожителей чертогомъ,
Куда носилася душа,
Священнымъ воздухомъ дыша!
Одолѣваемъ сладкой лѣнью,
Въ груди задумчивость тая,
Водъ сладкозвучному паденью
Любилъ прислушиваться я;
Любилъ сливать напѣвъ отзывной
Съ стенаньемъ бури заунывной,
Съ веселой дробью соловья.
Тогда-то къ смѣлымъ пѣснопѣньямъ
Въ груди моей затлѣлся жаръ,
Тогда-то развился мой даръ:
Мысль окрылять воображеньемъ,
Давать живой языкъ страстямъ,
Сливая въ думы голосъ тайной,
Знакомый пламеннымъ сердцамъ,
Который тихо и случайно
Изъ лона жизни, изъ могилъ
Пѣвцу понятно говорилъ.
Восторгомъ сердце трепетало,
Какъ вѣтромъ сорванный листомъ,

И думы пламенной потокъ
Ладами, стройно изливало!
И эхо рѣзвое внимало
Мою восторженную грусть,
И, повторяя наизусть,
Скаламъ отъ скалъ передавало.
Но пѣсни юности моей,
Моей задумчивой свирѣли
Незнаемы умамъ людей,
Какъ стан вольныхъ лебедей,
Звуча, въ поднебесье летѣли,
Или досель кипятъ онѣ
Въ моей сердечной глубинѣ!

XIV.

Романъ.

И такъ пословицы извѣстной
Молва правдива, что пѣвецъ
Хотя правдивый и прелестный,
Но тѣмъ не менѣ вѣрно лжецъ
И Свѣтовида ли напѣвы
Внушая, не внимала дѣвы!
Да, скромный другъ, казалось мнѣ,
Замѣтилъ я въ одномъ окнѣ
Красой и статью царь-дѣвицу;
Зачѣмъ краснѣть! — Замѣтилъ я,
При первомъ взорѣ на тебя,
Въ ея глазахъ любви зарницу,

И вдругъ въ твоихъ слiялся онъ,
Какой-то нѣгой упоенъ!
И лишь порою для отводу,
Скользилъ небрежно по народу.
И то не скрылось отъ меня,
Когда, румянцемъ пламенѣя,
Ты въ гордый скокъ пустилъ коня,
Забывъ друзей и князь Андрея,
Но ей въ поклонъ едва, едва
Твоя склонилась голова,
Чтобъ глазъ не свесть ни на мгновенье
Съ ея стыдливой красоты!...
Иль друга обманула зрѣнье,
Иль обольстить желаешь ты!...

XV.

Любовникъ опытный безпечно
Внимаетъ съ холодомъ очей
Намекъ о склонности своей,
Хоть радъ внимать о милой вѣчно
И вѣчно говорить о ней;
Но страсти въ пламенныя лѣта
Не знаютъ скромности завѣта:
Притомъ въ очахъ была видна
Столь привлекательно ясна,
Романа искренность младая,
Не прежней дружбы цѣнь святая,
А новой чистая вина,

И Свѣтовидъ, любовью тая,
Предъ гостемъ сердце проявилъ,
Какъ переполненный фіалъ.
Онъ описалъ прелестной Лады
Очаровательные взгляды
И поступь — къ нѣжному цвѣтку
Прикосновенье вѣтерка,
И стройный станъ, какъ зрѣлый колосъ,
И сердцу небомъ звучный голосъ,
Чело — души прекрасной тѣнь,
И душу, свѣтлую, какъ день;
Онъ описалъ любви томленья,
Тоску разлукъ и лѣту встрѣчъ,
И взоровъ пламенную рѣчь,
Взаимной страсти откровенья.

XVI.

Но ахъ! земныя наслажденья
Рокъ не даетъ, а продаетъ:
Отецъ невѣсты Бѣловодъ,
По волѣ князя — гласу міра
Смѣнилъ во власти Любомира
И рай утратилъ Свѣтовидъ
Для мести суетныхъ обидъ.
Но пусть, сказалъ онъ, знѣва сила
Десницы наши разлучила,
Безъ обручальнаго кольца
Неразлучаемы сердца!

И я любовью Лады нѣжной
Благополученъ безнадежной,
Хотябъ судьбой мнѣ суждено
Воспоминаніе одно!
Какимъ огнемъ душа пылала,
Когда, склонясь къ груди моей,
Люблю тебя! она шептала,
И свѣтъ бѣжалъ моихъ очей!
Когда медлительно и страстно
Съ коральныхъ дѣвственныхъ устенъ
Я пилъ дыханіе прекрасной,
Нѣмымъ восторгомъ упоенъ!
О мой Романъ! я былъ блаженъ!
Въ быломъ и небо ужь не властно!!

XVII.

Романъ

Такъ! воля самая небесъ
Не усладитъ минувшихъ слезъ,
И злой кручины покрывала
Не свѣять нѣгою съ лица!
Денница лѣтъ меня застала
На гробѣ милаго отца!
И не любовью, но печалью
Облечена военной сталью
Впервые билась грудь моя!
Она отъ юности предѣла
Отчизны ранами болѣла,

И рано свѣтъ изведалъ я.
Межь тѣмь за правду, за отвагу
Въ бою, въ походѣ ратныхъ силъ
Я съ первыхъ лѣтъ княжому стягу,
Княжому сердцу [illegible],
И наконецъ подъ шумомъ [illegible]
Въ поляхъ Черниговъ родныхъ,
Мнѣ душу Всеволодъ открылъ:
Онъ мнѣ сказалъ: я Русь [illegible]
Люблю, какъ ты, [illegible] ты [illegible]!
Мечтой минули времена
Владиміра и Святослава,
Когда возникла наша слава,
Нераздѣлимая [illegible]
Но власть князей великихъ нынѣ
Гласъ вопіющаго въ пустынѣ!
И древній мечъ, [illegible]
Дрожитъ въ бездоблестныхъ рукахъ.
Вождей совѣта и побѣдъ
Не вижу, не предвижу я:
Окрестъ — могучіе сосѣды,
Внутри — ничтожные князья?
Но мнѣ ль заранѣ править тризну
За пол-умершую отчизну,
Когда, презрѣвъ мою [illegible]
На благо силой [illegible],
Когда сподвижниковъ [illegible]
Въ моихъ безтрепетныхъ [illegible]?

Такъ, мы пойдемъ! борьба настанетъ. —
И Всеволодъ отважно грянетъ
Копьемъ въ златыя ворота,
И, какъ разсѣянныя стрѣлы,
Соединитъ князей удѣлы
Подъ сѣнью твердаго щита!
Пускай мгновенною грозою,
Пугая Русь, я пролечу,
Но какъ гроза, ее омою
И міру миръ произращу!

XVIII.

Я внялъ, на встрѣчу свѣтлой цѣли
Мои надежды полетѣли.
Я зналъ, что въ нѣдрѣ этихъ думъ
Возможность вѣрная таится,
И — смѣлый духъ на все рѣшится,
И все рѣшить способный умъ.
Тогда на слово и на дѣло
Я далъ обѣтъ Всеволоду смѣло,
И острый мечъ, и юный вѣкъ
На службу родины обрекъ.
О, милый другъ! мнѣ тяжко было
Сказать навѣчное: прости!
Всему, что сладостно и мило,
Что упованью рай сулило
Ахъ! дважды сердцу не цвѣсти!
Любови молненная сила

Воспламенивъ, его разбила!
Я могъ ли милой посвятить
Отчизнѣ отданную руку,
Иль на печаль и на разлуку
Чужую младость осудить?
О! какъ мучительно съ укоромъ
Привѣты нѣжные внимать,
И беззаботно-хладнымъ взоромъ
Слезу любви оледѣнять,
Когда кипитъ душа младая,
Пожаръ страстей утаевая!!!
Терзаемъ завистію злой,
Я ночи млѣлъ на жаркомъ ложѣ,
И утро восходило тоже
Съ нераздѣленною тоской!

XIX.

Но наконецъ, [illegible]
Я самъ себя преодолѣлъ,
И на призывъ трубы [illegible]
Съ отважнымъ [illegible]
И павшій Кіевъ — [illegible]
Въ тѣ дни, [illegible]
И пѣной славы ор[illegible]
Я мнилъ, о родинѣ [illegible]
Сбывался въ подвигѣ [illegible]
Все можно въ [illegible]
Былъ побѣдителя закона

Но признаюсь, о [illegible]
Лишь только [illegible] Андрея [illegible]
Во мнѣ посѣялъ въ первый разъ
Уже ль въ огромности спасенье?
Бѣдуль — бѣдами [illegible]?
Права ль неправдой [illegible]?
И для чего [illegible]
Вчернѣ Андрея [illegible]
Когда ему несутся [illegible]
Благодареній и [illegible]?
Уже ль? . . . но [illegible]
Не местью князь мой [illegible]
Отъ юныхъ лѣтъ не [illegible]
Властолюбиваго [illegible]

XX.

Свѣ[illegible]

Ты сомнѣваешься! [illegible]
Неправой службы [illegible]
Конечно, ратн[illegible]
Не по избранію [illegible]
Но это все не оборо[illegible]
Отъ тайной съ совѣстью войны!
И я, душей благого[illegible]
Творца міровъ благода[illegible]
Что онъ возвелъ [illegible]
Подъ кроткой [illegible]
И за него [illegible]

Утѣшной вѣрою спокойный:
Я правдѣ былъ слуга достойный,
Я палъ за родину мою!
Но гдѣ жъ охота удалая?...
Внемли Романъ! На первый гонъ
Раздался доѣзжачихъ звонъ,
И съ дальнымъ лаемъ лай сливая,
На слѣдъ напала гончихъ стая,
И въ хоръ согласный залилась.
Навѣрно тамъ закинулъ князь!
По волку гонятъ; я внимаю:
«И береги! и улюлю!»
Ловцамъ отрадный шумъ охоты
Катится въ глубь кремнистыхъ горъ;
Гудя на радостныя ноты,
Скалы заводятъ звучный споръ,
И затихаютъ постепенно
Отзывы ловли отдаленной,
Едва, едва по островамъ
Нѣмѣя, шепчетъ звукъ усталой,
И вотъ по холмамъ и долинамъ
Молчанье вечера настало!

XXI.

Слѣдя звѣриную войну,
Спѣшатъ ловцы на вышину,
Склоненную крутымъ отвѣсомъ
Надъ темнымъ тополевымъ лѣсомъ,

И вдругъ долины въ глубину
Влечетъ невольно ихъ вниманье
То крикъ, то жалкое стенанье . . .
Они глядятъ, и въ ихъ очахъ
Изъ дебри поднятый облавой,
Язвимъ рогатиной кровавой,
Медвѣдь ловца низринулъ въ прахъ.
И нѣтъ ему отъ нихъ спасенья:
Стремниной путь имъ загражденъ
И вдаль отводитъ горный склонъ.
Слова напраснаго моленья
Въ лѣсной теряются глуши.
Ни гдѣ ни звука, ни души.
Но Богъ вездѣ! въ полетъ мгновенья,
Какъ съ облаковъ упалъ Ѳедоръ,
На звѣря устремился онъ.
Возсталъ дубравъ властитель черный
И къ крови лютъ, въ бою упорный,
Коня когтями рветъ въ бокъ;
Спрянулъ боецъ; врага встрѣчаетъ,
Одеждой руку обвиваетъ,
И вдругъ безтрепетную длань
Вонзаетъ въ алчную гортань.
Его объемлетъ звѣрь свирѣпый,
Сдвигаетъ мощныхъ лапъ [illegible]
Но крѣпкій мѣхъ, но реберъ клѣть
Проникъ булатъ — и палъ медвѣдь!

XXII.

Друзья нежданностью явленья
Устрашены, изумлены,
Развѣявъ хладъ [illegible],
Потокомъ скачутъ [illegible]
По склону [illegible]
Несутся легкими [illegible],
И словно лебеди [illegible],
Переплываютъ [illegible]
И вотъ узрѣли предъ собою
Неустрашимаго бойца
Онъ влекся пѣшъ [illegible]
Въ кровь [illegible]
Храня разбитаго [illegible]
Въ сѣдлѣ заботливой рукою
И въ немъ [illegible] друзей
Великодушный князь Андрей!
Прости, о князь, [illegible]
Воскликнулъ [illegible] Романъ
Я мнилъ что мирное [illegible]
Презрѣнной робости [illegible]
Упалъ съ очей [illegible]
Теперь, погибая [illegible]
Никѣмъ [illegible]
Чего же, [illegible]
Не совершилъ, [illegible]
Передъ лицемъ своихъ дружинъ,

И почему, о вождь избранной,
Ты убѣгаешь славы бранной?

XXIII.

К. Андрей.

Что слава? ломкая скудель,
Румянецъ тлѣнья листопада!
Она добыча! не награда
И душъ и дѣлъ, пробившихъ цѣль!
Падутъ владѣльцы величавы,
И въ позолоченыхъ гробахъ
Сіянье сѣверное славы
Не согрѣваетъ хладный прахъ,
Не придаетъ душѣ покою:
Вѣка тяжелою пятою
Сотрутъ златыя письмена;
Изроетъ плугъ гробницъ обломки
И нерадивые потомки
Забудутъ славныхъ имена!
Скажи мнѣ: кто такіе были
Вожди безтрепетныхъ Славянъ,
Когда они съ полночныхъ странъ
Предѣлы Римскіе громили?
Не толь мы зримъ! вблизи, вдали,
Окрестъ великіе народы,
Шумя побѣдами, текли
И, какъ весной нагорны воды,
Изчезли вдругъ съ лица земли!

Гдѣ имя ихъ? гдѣ силы рьяны?
Гдѣ слава жизни боевой?
Лишь развѣваетъ вихрь степной
Ихъ безотвѣтные курганы!
И не про всѣхъ поютъ баяны,
Звѣзды возвышенной сыны,
И тонутъ въ безднѣ быстрины
Ихъ мимолетныя творенья!

XXIV.

Но пусть живыя пѣснопѣнья,
Иль темный лѣтописей гласъ
Заронятъ въ пепелѣ забвенья
Хоть искру памяти объ насъ...
Заплатитъ ли цѣну исканій,
Цѣну кровей въ устахъ преданій
Одинъ припѣвъ, одинъ разсказъ?
И можетъ быть, лѣтописатель,
Таясь въ глуши монастырей,
Теперь на подвиги князей
Пристрастный оныхъ наблюдатель,
Наводитъ лесть, слагаетъ брань,
Друзей народа обезславитъ,
Злодѣевъ доблестью оправитъ,
И ложную наклычетъ дань
На ихъ главы отъ позднихъ братій
Рукоплесканій и проклятій.
Достойно ль жаждать славы сей,

Подруги смѣлаго порока,
Невольницы хотѣній рока,
Случайной прихоти людей!!
Не ей, — общественному благу
Я посвятилъ мою отвагу,
И лейтесь вѣки вслѣдъ вѣкамъ
За улетающимъ мгновеньемъ!
И смерть по жизненнымъ путямъ
Запорошп мой слѣдъ забвеньемъ!
Но если я, въ годину тмы,
Хоть сердце шаткое исправилъ,
Хотя немногіе умы
Любить прекрасное заставилъ;
Когда лучемъ душевныхъ силъ
Законы правды озарилъ,
Когда благія увѣщанья,
Иль безупречный подвигъ мой
Взойдутъ незнаемой виной
Великодушнаго дѣянья....

XXV.

Я не изчезъ въ бездонной мглѣ,
Но сѣдиной вѣковъ юнѣя,
Раскинусь благомъ по землѣ,
Воспламеняя и свѣтлѣя!
И прокатясь ключемъ съ горы,
Подъ сѣнью славы безъименной,
Столь отдаленной и желанной,

Достигну радостной поры,
Когда, познавъ законъ природы,
Завѣтный плодъ, во мглѣ времянъ
Людьми посѣянныхъ сѣмянъ,
Пожнутъ счастливые народы!
Когда на землю снидутъ вновь
Покой и братская любовь,
И свяжетъ радуга завѣта
Въ одинъ народъ весь смертный родъ,
И Вѣра всѣ предѣлы свѣта
Волной живительной сольетъ,
Какъ море благости и свѣта!
Въ надеждѣ сей, Романъ, познай
Мою сладчайшую отраду,
Мою молву, мою награду,
Мое безсмертіе и рай!!

XXVI.

Умолкъ. Чело его сіяло,
На небо свѣтлый взоръ летѣлъ,
Какъ будто онъ сквозь покрывало
Лице Грядущаго узрѣлъ.
И внемля рѣчи вдохновенной,
Мечтатель, сердцемъ восхищенный,
Дань убѣжденія принесъ
Невольныхъ, но отрадныхъ слезъ.

XXVII.

Межъ тѣмъ, покинувъ поѣздъ шумный,
И нелюдимъ и одинокъ,
Доволенъ тмой, какъ самъ перомъ,
Съѣзжаетъ Любомиръ злоумный;
И вотъ спѣшитъ къ нему ѣздокъ,
Питомецъ гибельной науки,
Дружинной сотникъ, Богуслай.
Они встрѣчаются, — внимай
По вѣтру зыблемые звуки.

Богуслай.

Ты въ черный день пустился въ даль;
Стремянный твой добыча звѣря.
Мнѣ удалова, право, жаль:
Надежныхъ слугъ важна потеря;
Онъ переломанъ. Говорятъ,
Ему не жить.

Любомиръ.

Я очень радъ.
Когда окрѣпли зданья сводны,
Подпоры только въ пламень годны.
Я радъ, что случая полетъ
Завѣялъ грязный этотъ слѣдъ.
Ты былъ? ты видѣлъ?

Богуслай.

Всѣ готовы.
За наше дѣло возстаетъ
Олай, Стемидъ, Гаральдъ суровый.

Любомиръ.

Я зналъ, что къ золоту лимка
Варяговъ мѣдная рука.
Людямъ безъ рода и отчизны
Какія страшны укоризны,
Какая низость не легка?
По насъ — милѣй властьми награда,
По нихъ — приданое Всевлада.

XXVIII.

Богуслай.

Такъ, Любомиръ, въ его послѣ
Твоихъ собратій ищутъ взоры
И завѣренья и опоры.

Любомиръ.

И нѣтъ стыда на ихъ челѣ?
Теперь оглядываться поздно.
Надежда смѣлыхъ — не въ полкѣ,
Она въ рѣшительности грозной,
Въ своей душѣ, въ своей рукѣ.
Но храбрецы отваги мѣрной
Досель не зрятъ, что сей Романъ
Защитникъ пламенный и вѣрный
Младаго князя Кіевлянъ.

Богуслай.

Но другъ ли намъ?

Любомиръ.

О, наловѣрный!

Онъ долженъ быть, онъ будетъ имъ.
Какой мудрецъ изъ выгодъ міра
Не сотворитъ себѣ кумира?

Богуслай.

Онъ на корысть не уловимъ.

Любомиръ.

У всѣхъ въ умѣ одно и тоже:
Крѣпясь — продать себя дороже.
Пускай богатъ и молодъ онъ,
Пускай не думаетъ о власти,
Но развѣ тихой славы звонъ
Плохой будильникъ юной страсти?
Когдажъ и сей напрасенъ зовъ,
Волшебный кличъ: «за край отцовъ!»
Доводитъ этихъ безкорыстныхъ
До злодѣяній ненавистныхъ.
Но онъ готовъ: и злато чашъ
Хранитъ дыханье прежней вашни;
Поклонникъ счастливой отваги,
Любимецъ власти — будетъ нашъ.

XXIX.

Богуслай.

Но для чего жъ Романъ доселѣ
Не извѣщенъ о нашемъ дѣлѣ?
Намъ дорогъ часъ и дорогъ онъ

Любомиръ.

А мнѣ успѣхъ всего дороже!
Не первенство ли за поклонъ
Ему отдать! Избави Боже!
Я знаю гордость пришлеца:
Онъ слово подвигомъ оцѣнитъ
И въ думѣ Всеволода смѣнитъ
Мой трудъ — улыбкою льстеца!
Нѣтъ, другъ мой, нѣтъ! Романъ единой
Послѣдній и въ послѣдній часъ
Услышитъ заговора гласъ,
И будетъ онъ съ своей дружиной
Его красой, а не пружиной.
И впереди; — такъ юный конь
Пугается кремня ударомъ,
Но обезумленный пожаромъ,
Отважно прядаетъ въ огонь.
Межь тѣмъ пріятелямъ боярамъ
Ты возвѣстишь: «посолъ Романъ
За нихъ со властію княжою»
Предъ вѣчнозыбкою толпою
Благотворителенъ обманъ.
Скажи: «успѣхъ вѣнчаетъ дѣло,
Онъ тамъ, гдѣ начинаютъ смѣло.
Намъ жить, иль ползать — только день;
И нѣтъ спасенья въ домѣ страха.
За нами гибельная плаха,

Предъ нами — счастія ступень!
Спѣши!»

XXX.

Въ туманѣ возрастая,
Домой онъ медленно потекъ.
Предъ нимъ густѣла тьма ночная,
Какъ за кончиной грозный вѣкъ!
И палъ боязни хладный иней
На сердце, полное гордыней.
Невольной памяти упрекъ
Во слѣдъ ему разсѣялъ тѣни
Имъ презираемыхъ видѣній:
Звучитъ могилою земля,
И кличетъ филинъ, словно совѣсть,
И шепчетъ листъ о казни повѣсть,
И тяжекъ стонъ коростеля.
Такъ озираясь и блѣднѣя,
Во мглѣ, какъ въ саванѣ, онъ былъ.
Подобенъ трупу чародѣя,
Когда сей выходецъ могилъ
Едва почуетъ лучъ холодной,
(Въ очахъ молвы простонародной
Велѣніемъ подземныхъ силъ),
Покинувъ тихое кладбище,
Стремится въ міръ за адской пищей,
И въ блѣдной синевѣ лица
Недвижныя мерцаютъ очи,

Какъ свѣтляки во мракѣ ночи, –
И кровь — уста у мертвеца:
Блуждаетъ онъ, объятый мглою,
Грозя окрестностямъ бѣдою . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

1827 года.

Конецъ второй главы.

Отрывокъ изъ v пѣсни.

. . . . . .

Въ святой одеждѣ пилигрима
Течетъ Андрей. На ложѣ сна
Полусокрыта, полузрима
Лежитъ окольная страна.
И потопляетъ крыльи стана,
Волна прозрачнаго тумана,
И сквозь него въ стеклѣ рѣки
Едва играютъ огоньки,
Едва бѣлѣютъ въ безпорядкѣ
Военачальниковъ палатки,
Подобно крыліямъ ладей,
Подобно стаѣ лебедей.
Вдали княжое знамя дремлетъ

И кисти древка, въ вышинѣ,
Струей незыблемой объемлетъ,
И все окрестъ въ глубокомъ снѣ.
Но не затихнула покоемъ
Страстями вспѣненная кровь.
У тѣхъ чело пылаетъ боемъ
На тѣхъ улыбка и любовь.
И снова ратниковъ заноситъ
Крыло мечтаній въ пламя сѣчъ,
И снова длань хватаетъ мечъ,
И снова сердце славы проситъ.
— Онъ шелъ. Кругомъ синѣла степь,
Вдали уснувшій станъ военной,
И дымъ огней и стражей цѣпь,
И стражей окликъ повременной,
И бой копытъ и звонъ оковъ
Неукротимыхъ жеребцовъ.
Бойницы близки : князь на волѣ,
Но медля въ думѣ роковой
Онъ ноетъ тяжкою тоской,
Предъ нимъ вечерней [illegible] поле,
Едва луной озарена
Сверкаютъ шлемы и кольчуги,
Тѣла во прахѣ и въ крови.
Теперь узнай и назови
Кто недруги твои, кто други?
Мечи въ ихъ раны вонзены,
Впились въ кровавыя [illegible]

И темной рабъ, и вождь избранной
Пробиты сталью троегранной,
Къ сырой землѣ пригвождены.
Коня могучаго стремленье
Въ полетѣ смерть перегнала,
И боя гордое храненье
Съ ноздрей широкихъ сорвала . . .
Онъ палъ. Недвижны удила
Бѣлѣютъ пѣной бѣлоснѣжной,
Какъ послѣ бури пѣнь прибрежной,
Какъ вихремъ сбитый виноградъ
Во прахѣ юноши лежатъ.
Умчался жизни духъ крылатый,
Въ очахъ послѣдняя слеза,
Потускнѣ [illegible] латы,
По лицамъ [illegible] роса;
Но дышетъ гнѣвомъ ихъ краса,
И затекли печатью крови
Укоромъ сдвинутыя брови.

. . . . . .
. . . . . .

1827

Дума святослава.

(Изъ V пѣсни поэмы Андрей К. Пер—ій.)

. . . Съ тѣхъ поръ война, завоеванье
И пламень селъ и битвы кровь,
Мое первѣйшее желанье,
Моя послѣдняя любовь!
И вѣрю я, что славы сына
Не гаснетъ сердце и въ пиры,
И душу, хладная кончина
Не вдругъ отвѣтъ отъ земли;
Но змѣемъ, по вѣтру носимымъ,
На нить страстей прикрѣпленa
Надъ милымъ ей, крыломъ незримымъ,
Она летать обречена.
Какъ величаво, какъ отрадно
Привычки славныя храня

Мой смѣлый духъ, раздолья жадной,
Какъ взоръ ума, какъ лучъ огня,
Помчится по полю видѣній,
Неумолкающихъ сраженій,
Съ громами, съ вихрями сліянъ!
Я полюблю въ часы ночные,
Будить тревогой спящій станъ,
Вздувать знамена боевыя,
Стремить каленую стрѣлу,
Вдыхать трубѣ побѣды звоны,
Клинъ боя вторить, падшихъ стоны,
И славнымъ витязямъ хвалу!
То, скуча, въ мирный парусъ вѣять,
Иль въ облакахъ орла лелѣять,
Иль раздувать степной туманъ.
Низграну въ крови крупнымъ градомъ,
Сорвусь съ утеса водопадомъ,
Огнистой радугой вѣнчанъ . . .
Иль надъ поморія страною,
Въ столбѣ ужаснаго смерча,
Взовьюсь на Стрибога* войною,
Крыломъ свисти и грохоча,
Сквозь тучь нія валы сѣдые,
Вторгая кедры вѣковые.

1827.

---

* Русскій богъ вѣтровъ.

МЕЛКІЯ

СТИХОТВОРЕНІЯ.

МЕЛКІЯ

СТИХОТВОРЕНІЯ.

Мы восхищалися Державина стихами?
Давноль фонъ Визину театръ рукоплескалъ?
Давно ли Дмитріевъ гармоніей плѣнялъ?
Но вамъ благодаря, на высотахъ двухолмныхъ,
Мы судимъ иначе поэтовъ многословныхъ:
Теперь Глупеніусъ взялъ верьхъ надъ Княжнинымъ
И Мевія зовутъ Гораціемъ вторымъ.
И словомъ всѣ жильцы Пермесской колыбели
Судить самихъ себя Архонтами засѣли:
Въ *таланты* жалуютъ, безсмертіе даютъ,
А геніевъ у насъ и куры не клюютъ!
Блаженны времена, украшенныя вами,
Обильны славными ничтожества трудами,
Смотрите, радуйтесь, какъ въ нѣдрѣ двухъ столицъ
Питомцы Фебовы и девяти сестрицъ,
Въ сомнамбулическомъ жару летя за славой,
Поправъ пятою вкусъ, грамматику, умъ здравой,
Стремятся генію невѣдомой стезей,
На верьхъ Парнасскихъ горъ безтрепетной стопой,
И тамъ собравшися ревущею ватагой,
Бугатъ храмъ памяти измаранной бумагой.
О други! самъ восторгъ мнѣ рѣчь сію внушилъ!
Онъ къ подражанію въ меня охоту плилъ.

Бросаю автора застѣнчивость межъ нами:
Я стою равными вѣнчаться похвалами,
Подобно вамъ, друзья, и я пишу стихи,
Чтобъ рифмою прикрыть невѣжества грѣхи.
Мы въ многомъ разнимся, но въ главномъ о-
чень сходны:
И ваши и мои творенія негодны.
Лишь превращенію благодаря въ умахъ,
Теперь плывете вы на мелкихъ парусахъ
Въ заливѣ безсмертія, подъ флагами забвенья.
Отъ васъ жалѣетъ міръ о выдумкѣ тисненья;
Журналы, зрители, чтецы трепещутъ васъ . . .
Но дребезжащій мой слабѣетъ хвальный гласъ!
Прославить можетъ ли безцѣнныхъ радъ тво-
реній
Едва изъ скорлупы раждающійся геній?
Но къ обладрению ревнуя чуждыхъ дѣлъ,
Для вашего вѣнца и лавръ сыскать хотѣлъ,
И тщетно пробѣгалъ долины Геликона;
Тамъ люди самаго испорченнаго тона:
Державинъ, Дмитріевъ, Жуковскій и Крыловъ,
Тамъ авторъ Душеньки, тамъ Карамзинъ, Ко-
стровъ . . .
Давно ужъ вырвали не только лавры — розы,
Оставили для васъ репейникъ, плющъ и лозы.

1819 года.

И кисти древка, въ вышинѣ,
Струей незыблемой объемлетъ,
И все окрестъ въ глубокомъ снѣ.
Но не затихнула покоемъ
Страстями вспѣненная кровь.
У тѣхъ чело пылаетъ боемъ
На тѣхъ улыбка и любовь.
И снова ратниковъ заноситъ
Крыло мечтаній въ пламя сѣчъ,
И снова длань хватаетъ мечъ,
И снова сердце славы проситъ.
— Онъ шелъ. Кругомъ синѣла степь,
Вдали уснувшій станъ военной,
И дымъ огней и стражей цѣпь,
И стражей окликъ повременной,
И бой копытъ и звонъ оковъ
Неукротимыхъ жеребцовъ.
Бойницы близки : князь на волѣ,
Но медля въ думѣ роковой
Онъ ноетъ тяжкою тоской,
Предъ нимъ вечерней битвы поле!
Едва луной озарены
Сверкаютъ шлемы и кольчуги,
Тѣла во прахѣ и въ крови.
Теперь узнай и назови
Кто недруги твои, кто други?
Мечи въ ихъ раны вонзены,
Впились въ кровавыя ложи

И темной рабъ, и вождь избранной
Пробиты сталью троегранной,
Къ сырой землѣ пригвождены.
Коня могучаго стремленье
Въ полетѣ смерть перегнала,
И боя гордое хранѣнье
Съ ноздрей широкихъ сорвала . . .
Онъ палъ. Недвижны удила
Бѣлѣютъ пѣной бѣлоснѣжной,
Какъ послѣ бури пѣнь прибрежной,
Какъ вихремъ сбитый виноградъ
Во прахѣ юноши лежатъ.
Умчался жизни духъ крылатый,
Въ очахъ послѣдняя слеза,
Потускнѣ ржавчиною латы,
По лицамъ хладная роса;
Но дышетъ гнѣвомъ ихъ краса,
И затекли печатью крови
Укоромъ сдвинутыя брови.

. . . . . .
. . . . . .

1827

Но мира твердаго навѣрно ожидаю.
Что многіе должны, согласенъ я съ тобой;
Зачѣмъ же вѣрятъ имъ, гоняясь за лихвой?
Бракъ безъ любви, — спроси жену мою объ этомъ.
Любови нѣтъ нигдѣ? Мнѣ Софьюшка отвѣтомъ.
Кокетки женщины? — Въ томъ нѣтъ большой вины:
Онѣ намъ нравиться на свѣтъ сотворены.
Забавы ложны всѣ? Но часто межъ друзьями,
Ты радости небесъ вкушалъ подъ небесами.
Есть жалкіе стихи? по развѣ Аполлонъ
Намъ все печатное читать скрѣпилъ законъ?
Хоть рѣдко мы цвѣты поэзіи сбираемъ,
Но иногда стихи прекрасные читаемъ.
Системы ложныя умы вскружили намъ?
Всѣ заблуждаются! — тому примѣръ ты самъ.
Смягчи свой гнѣвъ, мой другъ, будь прямо безпристрастенъ,
И знай, что человѣкъ ни злобенъ, ни несчастенъ.
Конечно вижу я, какъ ты, какъ всякъ другой,
Есть зло, но есть за то и благо подъ луной;
Я благомъ пользуюсь, а зло сносить стараюсь,
Но мнѣніямъ твоимъ и пѣніямъ удивляюсь.
Напрасны жалобы не большее ли зло?

Не множь собой, мой другъ, хулителей число;
Небесной мудрости познай законъ священной,
И вѣрь, что создано все къ лучшему въ вселенной.

1819 года.

Саатырь.

Якутская баллада. [1]

Не вѣтеръ вздыхаетъ въ ущельѣ горы,
Не камень слезится росою
—То плачетъ Якутъ до полночной поры,
Склонясь надъ женой молодою.
Ужъ пятую зорю томится она,
Любви и веселья подруга,
Безъ капли воды, безъ цѣлебнаго сна,
На жаркой постели недуга:
Съ румянцемъ ланитъ лучъ надежды погасъ:
Какъ воронъ надъ нею погибели часъ.

Умолкните, чаръ и молепія вой
И бубновъ плачевные звуки [2]!
Съ одра Саатырь поднялась головой,
Простерла поблеклыя руки:

Итакъ, какъ подъ снѣговымъ рощанае ручья,
Какъ звонъ колокольчика далекой,
Струится по воздуху голосъ ея;
Внемлите вы рѣчи прощальной;
Священъ для живыхъ предсмертный завѣтъ:
У гробныхъ дверей лицемѣрія нѣтъ!

«О други! уйдетъ ли журавль отъ орла?
Отъ пули быстроногія козы?
Коль смертная тѣнь мнѣ на сердце легла,
Прильютъ ли дыханія слезы?
О мужъ мой — неплачь: нами судьба изрекла
И въ бракѣ разлучную долю.
Но волѣ твоей я доселѣ жила,
Исполни теперь мою волю:
Покой и завѣтъ нерушимо храня,
На горномъ холмѣ схорони ты меня!»

«Не вѣшай мой гробъ на лѣсной вышинѣ
Духамъ, непогодамъ забавой;
Въ родимой землѣ рой могилу ты мнѣ,
И кровлей замкни величавой.
Вотъ слово еще, роковое оно:
Едва я дышать перестану,
Сей перстень возьми и отцу въ стремено,
Отдай его князю Буйдукану.
Разгадки жь къ тому не ищи, не слѣди
— Тайна эта въ моей погребится груди?...»

И смерть осѣнила больную крыломъ,
Сомкнулись тяжелыя вѣжды;
Казалось, она забывается сномъ
Въ объятіяхъ сладкой надежды;
Съ дыханіемъ устъ замирали слова,
И жизнь улетѣла со звукомъ.
Отринувъ стрѣлу, такъ звенитъ тетива,
Могучимъ расторгнута лукомъ.
Родныхъ поразилъ изумляющій страхъ...
На сердцѣ тоска, и слеза на очахъ.

Убрали. Подпилки подобіемъ струй
Текутъ на богатыя шубы [5].
Но грусти печать — отъ родныхъ поцѣлуй
Не сходитъ на блѣдныя губы [6];
Лишь смѣло къ одру подходилъ Буйдукамъ
Одинъ, и стопою незыбкой;
Онъ обнялъ ее не смущенъ и румянъ,
И вышелъ съ надменной улыбкой.
И чудилось ихъ — Саатыри чело,
Какъ сѣвернымъ блескомъ на мигъ разсвѣло!...

На утро, гдѣ Лена межъ башнями горъ
Течетъ подъ завѣсой тумановъ,
И вѣтеръ, будя истлѣвающій боръ,
Качаетъ гробами шамановъ [7].
При клакѣ родныхъ Саатырь принесли
Въ красивой колодѣ кедровой [8], —

И тихо, разверзтое лоно земли
Сомкнулось надъ жертвою новой.
И дѣвы и жены, и старый и младъ,
Въ улусъ потекли озираясь назадъ.

Вскипѣли котлы, задымилася кровь
Коней — украшенія стада,
И брызжетъ кумысъ отъ широкихъ краевъ,
Онъ счастья и горя услада;
И шумно, кругомъ, упоенья кумиръ
Аяхъ пробѣгаетъ бездонный [9],
Ужъ вянетъ заря. Поминательный пиръ
Затихъ. У чувала [10] склоненный
Кругъ сонныхъ гостей возлежитъ недвижимъ,
Лишь въ юртѣ, синѣя, волнуется дымъ.

Осыпаны кудри цвѣтныхъ тальниковъ
Росинками ночи осенней,
И вышита зелень холмовъ и луговъ
Узоромъ измѣнчивыхъ тѣней;
Вотъ мѣсяцъ надъ теменемъ сумрачныхъ скалъ
Вспрянулъ кабаргой златорогой,
И лучъ одинокій по Ленѣ упалъ
Видѣньямъ блестящей дорогой:
По мхамъ, по тропамъ заповѣдныхъ полянъ
Мелькаютъ онѣ сквозь прозрачный туманъ.

Что крикнулъ испуганный вранъ на скалѣ,
Блюститель безмолвія ночи?
Что искрами сыплютъ и мерцаютъ во мглѣ
Огнистыя филина очи?
Не адскій ли по лѣсу рыщетъ ѣздокъ,
Заглохшей шаманскою тропкой?
Какъ бубенъ звуча, отражаемый скокъ
Гудитъ по окрестности робкой . . . .
Вотъ кто-то примчался — онъ блѣденъ лицемъ,
Какъ идолъ стоитъ на холмѣ гробовомъ.

И пранулъ на землю; ударъ топора
Раздвинулъ затворъ надъ могилой,
И молвитъ онъ мертвой: «подруга, пора!
Женихъ дожидается милой!
Воскресни для новыхъ веселія дней,
Для жизни и счастія. Кони
Умчатъ насъ далеко — и вѣтеръ степей
Завѣетъ слѣды отъ погони.
Притворной кончиною вольная вновь,
Со мной ты найдешь и покой и любовь».

. . . . . .

«Тыль это, с милой? о князь Буйдукань!
Какъ вѣчно казалось мнѣ время!
Какъ душно и страшно мнѣ было! Обманъ
На сердцѣ палитъ будто бремя! . . .
Роса мнѣ катилась слезами родныхъ,

На вѣтрѣ — ихъ стонъ безотрадной!
И черви на мѣсто перстней золотыхъ
Вились — я такъ смѣло, такъ жадно! . . .
Вся кровь моя стынетъ — а близокъ ли путь?
О милой, согрѣй мнѣ въ объятіяхъ грудь!»

И вотъ поцѣлуевъ таинственный звукъ
Подъ кровомъ могильной святыни,
И сладкія рѣчи . . . но вдругъ и вокругъ
Слетѣлися духи пустыни,
И трупы шамановъ свились въ хороводъ,
Ударили въ бубны и въ чаши . . . . . [11].
Внимая трепещутъ любовники! вотъ
Имъ вопятъ: «вы наши, вы наши!
Не выдастъ могила схороненный кладъ;
Преступниковъ духи караютъ, казнятъ!»

И падаютъ звѣзды, и прыщетъ огонь . . .
Испуганный адскою ловлей
Храпитъ и кидается бѣшенный конь
На кровлю — и рухнула кровля!
Вдали огласился раздавленныхъ стонъ . . .
Погибли. Но тѣнь Саатыри
Донынѣ пугаетъ измѣнчивыхъ женъ
По тундрамъ Восточной Сибири.
И ловчій, когда разливается тма,
Въ боязни бѣжитъ роковаго холма.

1828 года,

Шебутуй.

(Водопадъ становаго хребта).

Стѣнай, шуми, потокъ пустынной,
Неизмѣримый Шебутуй,
Сверкай отъ высоты стремнинной
И кудри пѣнныя волнуй!

Туманы, тучи и мятели,
На лонѣ тающихъ громадъ,
Въ гранитной зыбля колыбели,
Тебя перунами поятъ.

Но пробужденный — ты затворы
Льдяныхъ пеленъ преодолѣвъ,
Играя скачешь съ горъ на горы,
Какъ на ловитвѣ юный левъ.

Какъ лѣтопадъ изъ вѣчной урны,
Какъ неба звѣздомлечный путь,
Ты низвергаешь волны бурны
На халцедоновую грудь.

И надъ тобой краса природы,
Блестя какъ райской птицы хвостъ,
Склоняетъ радужные своды,
Полувоздушныхъ перловъ мостъ.

Орелъ по громовой дорогѣ
Купаетъ въ радугѣ крылѣ,
И серна, преклоняя роги,
Глядится въ зеркальной скалѣ.

А ты, клубя волною шибкой,
Потока юности быстрѣй,
То блещешь солнечной улыбкой,
То меркнешь грустію тѣней.

Катись подъ роковою силой,
Неукротимый Шебутуй,
Твое роптанье — голосъ милой
Твой ливень — братній поцѣлуй.

Когда громамъ твоимъ внимаю
И въ кудри льется брызговъ пыль,
Невольно я припоминаю
Свою таинственную быль.

Тебѣ подобно, гордый изгнанникъ,
Отъ милой родины сосланъ,
Влекомый страстью безумной,
Я въ бездну гибели упалъ.

Зачѣмъ же моего паденья,
Какъ твоего паденья дни,
Дуга небеснаго прощенья
Не озаритъ лучемъ своимъ!

О жребій! если въ этой жизни
Не знать мнѣ радости вѣнца,
— Хоть поздней памятью отчизны
Могилу тихую пѣвца.

1829 Май.

Финляндія.

Посвящено А. А. З. . . . му.

Я видѣлъ васъ, граниты вѣковые,
Финляндіи угрюмое чело,
Гдѣ юное твореніе, впервые,
Нетлѣнною развалиной взошло,
Стряхнувъ съ рамёнъ Балтическія воды,
Возникли вы, какъ остовы природы!

Тамъ рыщетъ волкъ, отъ глада свирѣпѣя,
На черепѣ тамъ коршунъ точитъ клевъ,
Печальный мохъ мерцаетъ слѣдомъ змѣя,
Тренещетъ ель пролетомъ облаковъ;
Туманы тамъ — утесовъ неизмѣнный
И дышутъ вѣкъ прохладою осенней.

Не смущены долины жизни шумомъ;
Истлѣніемъ сѣдѣетъ дальній боръ;
Уснула тѣнь въ величіи угрюмомъ
На зеркалѣ незыблемыхъ озеръ;
И съ крутизны въ пустынные заливы,
Какъ радуги бѣгутъ ключи игривы.

Тамъ силой водъ пробитыя громады
Задвинули порогомъ пѣнный адъ,
И въ бездну ихъ крутятся водопады
Гремучіе, какъ воющій набатъ;
Имъ вторитъ гулъ — жилецъ пещеры дальней,
Какъ тяжкій млатъ по адской наковальнѣ.

Я видѣлъ васъ! бушующее море
Вздымалося въ губительный потопъ,
И мощное, въ неодолимомъ спорѣ,
Дробилося о крѣпость вашихъ стопъ;
Вамъ жаркіе и влажные перуны
Нарѣзали чуть видимыя руны.

Я понялъ ихъ! на западѣ сіяло
Свѣтило дня, златя ступени скалъ,
И океанъ, какъ вѣчности зерцало,
Его огнемъ живительнымъ пылалъ,
И древнихъ горъ заклѣтныя скрижали,
Мнѣ дивныя пророчества роптали!

1829 года.

Черепъ.

Кончины памятникъ безгробной!
Скиталецъ — черепъ, возвѣсти:
Въ отрадуль сердцу ты поверженъ на пути,
Или уму загадкой злобной?

Не ты ли мостъ, не ты ли первой слѣдъ
Надъ океаномъ правды зыбкой?
Привѣтъ ли мнѣ иль горестной отвѣтъ
Мерцаетъ подъ твоей ужасною улыбкой?

Гдѣ утаенъ твой заповѣдный ключъ,
Замокъ безсмертныхъ думъ — и тлѣнья?
Въ тебѣ угасъ отвѣтной лучъ,
Окрестъ меня туманъ сомнѣнья.

Ты жизнію кипѣлъ, какъ праздничный фіалъ,
Теперь лежишь разбитой урной,
Вѣнокъ понятія увялъ
И прахъ ума развѣялъ вихорь бурной!

Здѣсь думы въ творческой тиши
Роилися, какъ звѣзды въ поднебесной,
И молнія страстей сверкала изъ души,
И радуга фантазіи прелестной.

Здѣсь нѣжный слухъ вкушалъ воздушный пиръ,
Восхищенъ звуковъ стройнымъ хоромъ,
Здѣсь отражался пышный міръ,
Бездоннымъ поглощенный взоромъ.

Гдѣжъ знакъ твоихъ божественныхъ страстей,
И силъ и замысловъ, грань міра облетѣвшихъ?
Здѣсь только слѣдъ презрительныхъ червей,
Храмъ запустѣнія, презрѣвшихъ!!

Гдѣжъ доблести? отдай мнѣ гроба дань,
Познаній свѣтлыхъ темный вѣстникъ!
Тыль бытія таинственная грань!
Иль духъ мой вѣчности ровесникъ!

Молчишь! но мысль, какъ вдохновенный сонъ,
Летаетъ надъ своей покинутой отчизной,
И путникъ, въ грустное мечтанье погруженъ,
Дарить тебя земль мирительною тризной.

1829.

Часы.

И думъ и дѣлъ земныхъ царь,
Часы, вашъ ликъ сіяетъ страшенъ,
Въ коронѣ пламенной зари,
На высотѣ могучихъ башенъ,
И взоръ блюстительный въ мѣди
Горитъ, неотразимо вѣрной,
И сердце времени въ безчувственной груди
Чуть зыбается приливомъ силы мѣрной.
Оживлены чугунною стрѣлой
На васъ таинственные роки,
И оглашаетъ вѣщій бой
Землѣ небесные уроки.
Но блескъ, но голосъ вашъ для вѣтренныхъ племенъ
Звучитъ и озаряетъ даромъ, ...
Подобно молніи невѣдомыхъ письменъ, . . .
Начертанныхъ предъ Валтазаромъ.

Летучее мгновенiе любви,
Поетъ любимцу голосъ лести:
Въ немъ золото и ароматы чести,
Послѣдній пиръ, свиданія любви
И наслажденья тайной мести.
И въ думѣ нѣтъ, что упованій прахъ
Дыханье времени уноситъ,
Что каждый маятника взмахъ
Цвѣты невѣрной жизни коситъ.
Заботно времени шаги считаетъ онъ,
И бой къ веселію призывный,
Еще не смолкъ металла звонъ.
А гдѣ же ты, мечты поклонникъ длинный?
Оковалъ ли безбрежный океанъ
Вѣнцомъ валовъ, — минутной пѣной?
Дѣтямъ ли дней дался побѣдный санъ
Надъ волей вѣка неизмѣнной?
Безумецъ кликъ: хочу, могу,
Вознесъ Наполеонъ строптивую десницу,
Сдержать мечтая на бѣгу
Стремимую вѣками колесницу;
Она промчалась! гдѣжъ твой мечъ?
Гдѣ прахъ твой, полубогъ гордыни?
Твоя могила — океанъ пустыни,
Твой слѣдъ — поля напрасныхъ сѣчь.

. . . . . .

. . . . . .

1829.

Въ день именинъ

Ал. Ив. М . . . й.

Невольный гость въ краю чужбины,
Забывшій свѣтъ, забывшій лесть
Желалъ бы вамъ на именины
Цвѣтовъ прелестнѣйшихъ поднесть:
Они дыханію услада,
Они веселіе очей.
При нихъ бы мнѣ писать ненадо
Вамъ поздравительныхъ рѣчей:
Желанье щастья безъ печали
Въ цвѣтахъ вы сами бъ угадали . . .
Но ахъ! Якутская весна
Не зелена и не красна!
И здѣшній май холодной, дикой,

Одной поденѣжною брусникой,
А не лилеями богатъ.
Природа спитъ, и въ полѣ цѣломъ
Я разжился однимъ пострѣломъ,
А я слыхалъ, такой нарядъ
На имянины не дарятъ.
И такъ по волѣ и неволѣ
Пришлось приняться за перо,
Хоть я забылъ въ угрюмой долѣ
Писать забавно и пестро.
Примитежъ это благосклонно,
И въ шумѣ праздничнаго дня
Не осудите вы меня
За мой привѣтъ простой и сонной.
Въ немъ правда — каждая черта;
При томъ же ваша доброта
По слуху, по сердцу, и дома
И вчужѣ страннику знакома
Въ краю зимы и дружбы зимной
Повѣрьте: только вы одни,
Вашъ разговоръ гостепріимной
Напоминалъ друзьямъ и мнѣ
О незабвенной сторонѣ.
О будь же добродѣтель та же
И съ нею брать ея — покой;
Какъ неизмѣнный часовой,
У сердца вашего на стражѣ,
Да никакой печали тѣнь

Не хмурить тихій сѣверъ небеса,
И проводивъ веселый день
По утру встанете вы здравы,
Да будутъ ясны ваши сны,
Какъ небо южныя весны,
И необманчивы надежды,
И передъ вами всѣ невзгоды
По крайней мѣрѣ хоть страницы
Совѣтъ подруги чистъ и вѣренъ,
Знакомыхъ кругъ пеликомѣренъ,
Неутомителенъ бостонъ,
Ни бальныхъ скрыпокъ ревъ и стонъ!
Когдажь на берега великой,
На берега моей Невы,
Покинувъ край морозовъ дикой,
Стрѣлою полетите вы,
Да встрѣтитъ путницу родныя,
Безпечной юности друзья,
И всѣ по сердцу не чужія,
И вся родимая семья
Благополучны и здоровы,
И пылки, и разлукой новы,
И смѣхъ, и радость и распросъ,
И сладкій дождь свиданья слезъ!!
Зачѣмъ же некра упованья
— Дожить до сладкаго свиданья
Въ груди моей погасла ты?
Но я стуилъ изъ за черты

Сороковерстнаго посланья.
И мнѣ и вамъ унять пора
Болтливость моего пера,
Но знайте: это все сначала
По пунктамъ истина скрѣпляла
Хоть неподкупна и строга;
Тутъ не сплеталъ изъ лести кружевъ
Вашъ всепокорнѣйшій слуга,
. . . . . въ.

1828 года.

Е. И. Б . . . . . ной

(Въ Альбомъ)

Зачѣмъ меня въ тяжеломъ снѣ
Тревожатъ лестныя велѣнья?
Нѣтъ не поминокъ обо мнѣ,
Я жажду струй самозабвенья!
Мое любимое давно
Во прахѣ лѣтъ погребено.
Минувшихъ дней змѣиной свитокъ
Хранитъ лишь бѣдъ моихъ избытокъ
И радостей, которыхъ нѣтъ,
Неизмѣнимо — хладный слѣдъ.
Зачѣмъ, зачѣмъ же вы желали
Мнѣ сердце пробудить опять!
Въ свои летучія скрижали
Мою кручину записать?

Зачѣмъ? вамъ будутъ непонятны
Страстей мятежныхъ письмена
И воли грозная волна,
И прихоть думы коловратной,
Которой сила, какъ стрѣла,
Сквозь адъ и небо протекла.
Но дайте года два терпѣнья
И можетъ быть, какъ важный гусь,
И я по озеру смиренья
Безстрастно плавать научусь.
Когда съ порой мечтанья минетъ
Вся поэтическая дурь
И на душѣ моей застынетъ
Кипучій слѣдъ минувшихъ бурь,
Тогда поэтъ благоразумный,
Безпечно сидя на пени,
Я наслѣдуюсь издали
На треволненья жизни шумной;
Тогда премилой вашъ альбомъ
Я испещрю своимъ перомъ.
И опишу отмѣнно точно,
Что я случайно иль нарочно
Извѣдалъ на своемъ вѣку:
Печалей терны, счастья розы,
Разлуки знойную тоску,
И нѣги сладостныя слезы,
И сводъ небесъ и родовъ струй,
И вѣчно первый поцѣлуй.

Тогда, покоренъ вашей волѣ,
На Арзерумскаго пашу
Въ 15 пѣсенъ — даже болѣ
Я эпопею напишу.
За то позвольте мнѣ дотолѣ,
Скрѣпивъ измученную грудь,
Отъ рифмъ и горя отдохнуть.

1829 года.

Осень.

Палъ туманъ на море синее,
Листопада первенецъ.
И горитъ въ алмазахъ инея
Горъ безлиственный вѣнецъ.

Тяжко ходятъ волны хладные,
Буйно вѣтръ шумитъ крыломъ,
Только вьются чайки жадныя
На поморіи пустомъ.

Только блещетъ за туманами,
Какъ созвѣздіе морей,
Надъ зыбучими полянами
Стая позднихъ лебедей.

Только съ хищностью упорною
Ихъ медлительной отлетъ
Надъ твердынею подзорною,
Дикой беркутъ стережетъ.

Все безжизненно, безрадостно
Въ померкающей дали,
Но страдальцу какъ то сладостно
Увяданіе земли.

Какъ осеннее дыханіе
Красоту съ ея чела,
Такъ съ души моей сіяніе
Длань судьбины сорвала.

Въ полдень сумраки вечернія
Взору томному покой,
Общей грустью тупитъ терніе
Память родины святой.

Вѣй же пѣсней усыпительной,
Перелетная мятель,
Хладъ забвенія мирительной,
Сердца тлѣющаго цѣль.

Между мною и любимаго
Безнадежное — прости,
Не призвать невозвратимаго,
Дважды сердцу не цвѣсти.

Хоть порой улыбка нежная
Озаритъ мои черты —
— Это радуга весенняя
На могильные цвѣты.

1829. Апрѣля.

Облако.

Куда столь быстро и легко,
И гордо и прелестно,
Ты пролетаешь облачко
— Скиталецъ подпебесной?

Земли бездомное дитя,
Игралище погоды,
Напрасно радугой блестя
Ты прелестью природы!

Завоетъ вихрь взметая прахъ
И ты изъ лона звѣздна
Дождемъ растаешь на степяхъ
Безславно, безполезно!..

Блести, лети на вѣтеркѣ,
Подобно нашей долѣ
— И я погибну вдалекѣ
Отъ родины и воли!

1828 г.

Дождь.

Провидѣнья перстъ незримой,
Облаковъ летучихъ вождь,
Нивѣ, жаждою томимой
Посылаетъ шумный дождь.
Звучно — благостью обильный,
Брызнулъ токъ живой воды,
Освѣжая злаки пыльны
И замершіе плоды.
Вотъ и радуга завѣта
Капли свѣтлыя зажгла:
То улыбка Бога свѣта
— Сѣнь безсмертнаго чела.

1829.

Оживленіе.

Чуть крылатая весна
Радостью повѣетъ:
Оживаетъ старина,
Сердце молодѣетъ;
Присмирѣлыя мечты
Рвутъ долой оковы,
Словно юные цвѣты
Рядятся въ обновы,
И любви златые сны,
Осѣняя вѣжды,
Вновь и вновь озарены
Радугой надежды.

1829.

Ей.

Когда моей лепитой внемлю
Пыланію твоихъ лапитъ,
Мнѣ радость небеса и землю
И золотитъ и серебритъ:
Душѣ такъ сладко и покойно,
И тихъ и воленъ сердца ходъ:
Такъ солнце катится беззвойно
На лоно зеркальное водъ.

1828.

Изъ Гете.

(Съ Персидскаго.)

Пейте; самыхъ лѣтъ весна
— Упоенье безъ вина.
Старецъ — пей вино до млада:
Въ немъ чудесная отрада;
На печаль груститъ любовь,
Врагъ печали гроздій кровь.

Не пытай, зачѣмъ оно
Было встарь запрещено!
Что завѣтно, то и слаще,
Пей же лучшее да чаще;
Будешь гяуромъ вдвойнѣ
Проклятъ на плохомъ винѣ.

1828

Изъ Гете.

(Подражаніе.)

Какъ часто, милое дитя,
Тебя чуждаюсь я невольно,
Когда въ толпѣ людей блестя
Крутимся мы — хоть сердцу больно;
Но въ мракѣ ночи и въ тиши,
Тебя не видя, нахожу я
По жару дѣвственной души,
По сладкой пѣгѣ поцѣлуя.

1828.

Всегда и вездѣ.

(Изъ Гете.)

Ключъ бѣжитъ въ ущелья горъ,
Въ небѣ свитъ тумановъ хоръ;
Муза манитъ къ волѣ, въ поле
Трижды тридевять и болѣ.
Вновь напѣненный бокалъ
Жарко новыхъ пѣсень проситъ,
Время катитъ шумный валъ,
Но опять весну приноситъ.

Юность.

(Подражаніе Гете.)

Рѣютъ ласточки весною
По долинъ и по водамъ:
Такъ мечтанья за мечтою
Вдаль и вкругъ и тамъ и самъ;
Новость манитъ въ испытанье,
Сердце поетъ взоромъ дѣвъ;
Грусть для юноши — питанье.
Слезы — щастія принѣвъ.

1828.

Съ Персидскаго.

Будь любезная далеко,
Такъ какъ западъ отъ востока;
Но любви чего нельзя?
Степь и море — ей степя,
Сердце всюду стражъ и плата,
Къ милой шагъ и — до Багдата.

1828.

Зюлейка.

Нѣтъ, ты мой и мой навѣчно!
Отъ любви любовь крѣпка,
Прелесть страсти, другъ сердечной,
Краше перстня и вѣнка.
Гордо я подъемлю брови
Отъ твоихъ высокихъ думъ;
Бытіе мое въ любови,
А душа любови — умъ.

1828.

Изъ Тафиза.

Прильнувъ къ твоимъ рубиновымъ устамъ,
Не вѣдаю ни срока ни завѣта.
Тоска любви — единственная мѣта,
Лобзанія — цѣлительный бальзамъ.

1828.

Разлука.

О дѣва, дѣва,
Звучитъ труба!
Румянцемъ гнѣва
Горитъ судьба!
Ужь сердце къ бою
Замкнула сталь,
Передо мною
Разлуки даль.
Но всюду, всюду,
Вблизи, вдали,
Не позабуду
Родной земли;
И вѣчно, вѣчно
— Клянусь, сулю:

Моей сердечной
Не разлюблю.
Ни лѣнь истомы,
И страхъ и месть,
Ни битвы громы,
Ни славы лесть,
Ни кубокъ пѣнной,
Ни шумный хоръ,
Ни дѣвы плѣнной
Манящій взоръ . . . . .
. . . . . .

1829.

А л и н ѣ.

Еще, еще одно лобзанье!
Какъ въ знойный день прохлада струй,
Какъ мотыльку цвѣтка дыханье,
Мнѣ сладокъ милой поцѣлуй.
Мнѣ сладокъ твой невинный лепетъ,
И свѣжихъ устъ летучій трепетъ,
Очей потупленныхъ роса,
И упоенія зарница . . . .
Все, все, души моей царица,
— Въ тебѣ и прелесть и краса!
Какой отрадой повѣваетъ
Съ твоихъ кудрей, съ твоихъ ланитъ!
Дыханье — нѣгою поитъ,
Отъ взора — сотомъ сердце таетъ,

И быстро молнія любви
Течетъ, кипитъ въ моей крови.
. . . . . .
Когдажъ твой легкій станъ объемлю,
Я, мнится, покидаю землю. . . .
Оковы праха отрѣша
Орломъ ширяется душа!
Но цѣлый міръ свѣтлѣетъ раемъ,
Когда восторженные, мы,
Уста и чувства и умы
Въ одно лобзаніе сливаемъ!
О другъ мой, еслибъ въ этотъ мигъ,
Неизъяснимый, невозвратный,
Далекій горестей земныхъ,
Дней нашихъ факелъ благодатный
Погасъ въ пучинѣ свѣтлыхъ струй,
И палъ за нами смертный пологъ,
— Чтобъ былъ послѣдній поцѣлуй,
Какъ небо чистъ, какъ вѣчность дологъ!!

1829.

. . . . . .

Лидѣ.

Приди, о милая, приди
На берегъ изумрудный!
Разлуки сонъ въ моей груди
— Тяжелый, безпробудный.

Приди, и сердце оживи
Очей волшебнымъ свѣтомъ,
Невинной лаской любви,
Младенческимъ привѣтомъ!

Съ тобой, красавица душа,
Свѣтлѣе утра — слезы,
И благовоннѣе дыша
Горитъ румянецъ розы.

Съ тобой, струями говоря,
Потокъ сверкаетъ ярче,
Свѣжѣй вечерняя заря
И тихій полдень жарче.

И мнится воздухъ напоенъ
Невѣдомымъ томленьемъ,
И листъ, зефиромъ оживленъ,
Трепещетъ наслажденьемъ.

И къ смертнымъ благости полна,
По синевѣ бездонной,
Надъ нами катится луна
Съ улыбкой благосклонной.

Приди, о милая, приди!
И страсти валъ мятежной,
Ты укротишь въ моей груди
Елеемъ дружбы нѣжной.

1829 года.

Пресыщеніе.

Ты пьешь любви коварный медъ,
Отъ чаши устъ не отнимая,
И въ сердце юное течетъ
Струя восторговъ огневая;
И упоенъ и утомленъ,
Ты ниспадаешь въ тихій сонъ.
Мечтаній рой тебя лелѣетъ,
Кропя росою сладкихъ слезъ.
Такъ съ жадныхъ крылъ прохладу вѣетъ
На жертву нѣги кровососъ;
Такъ въ цвѣтѣ истлѣваютъ силы,
Отъ пресыщенья, въ пыль могилы.
Ты скажешь: «милъ завѣтный плодъ,
Не дважды молодость цвѣтетъ,
И безъ желаній волны Леты
Шумятъ всегда у нашихъ стопъ!»
Но ты и сердцу прежде мѣты
Готовишь гибельный ознобъ,
И поздній плачъ, и ранній гробъ.

1829.

Тостъ.

Вамъ — семейство милыхъ братій,
Вамъ — созвѣздіе друзей,
Жаръ привѣтственныхъ объятій
И цвѣты моихъ рѣчей!
Вы со мной — и ледъ сомнѣнья
Растопилъ отрадный лучъ,
И невольно, пѣнопѣнья
Изъ души пробился ключъ!
Въ благовонномъ дымѣ трубокъ,
Какъ звѣзда, несется кубокъ,
Влажной искрою горя
Жемчуга и янтаря;
Въ немъ играя и свѣтлѣя
Дышетъ пламень Прометея,
Какъ безсмертія заря!

Раздавайся жъ ликъ заздравной:
Благоденствіе — живи
На Руси перводержавной
Въ лонѣ правды и любви!
И слезами винограда,
Изъ чистѣйшаго сребра,
Да прольется ей услада
Просвѣщенья и добра!
Гряньте въ чашу звонкой чашей,
Небу взоръ и другу длань,
Вознесемъ бесѣды нашей
Умилительную дань!

. . . . . .

И предметъ всемірной ловли,
Щастье рѣзвое, тайкомъ,
Да слѣтитъ на наши кровля
Сизокрылымъ голубкомъ,
Чтобъ мы грозныя печали
Незамѣтно промечтали,
Возбуждаемы, порой,
На веселье и покой!
Да изъ насъ пылаетъ каждой,
Упитавъ наукой умъ,
Вдохновительною жаждой
Правыхъ дѣлъ и снѣтлыхъ думъ,
Вѣчно страху неприступенъ,
Вѣчно златомъ неподкупенъ,
Безотвѣтно горделивъ

На прельстительной призывъ.
Да украсятъ наши сабли,
Эту молнію побѣдъ,
Крови пламенныя капли
И боевъ зубчатый слѣдъ!
По подобно чашѣ пирной
Въ свѣжихъ розанахъ вѣнца,
Будутъ искренностью мирной
Наши повиты сердца!
И въ сердцахъ восторга искры,
Умиленія слеза,
И на доблесть чувства быстры,
И порочному — гроза!
Пусть любви могущій геній
Дастъ намъ радости цвѣты
И перуны вдохновеній
Въ поцѣлуѣ красоты!
Пусть онъ будетъ, вѣстникъ рая,
Нашей молодости братъ,
Въ пламя жизни подливая
Свой безцѣнный ароматъ!
Чтобы съ нектаромъ забвенья,
Въ тихій часъ отдохновенья,
Позабыть у милыхъ ногъ
Мечъ, и кубокъ, и вѣнокъ

1829 года.

Сонъ.

Зачѣмъ зарницею безъ гула
Исчезла ты, любви пора,
И птичкой юность упорхнула
Въ невозвратимое вчера?
Давноль на юношу, давно ли,
Обѣтомъ щастія горя,
Цвѣтами радости и воли
Дождила свѣтлая заря?
Давноль съ роднаго порога
Сманила жизнь на пышный пиръ?
И какъ безгранная дорога
Передо мной открылся міръ!
И случай, преклоняя темя,
Держалъ мнѣ золотое стремя,
И гордо бросивъ повода,

Я поскакалъ туда, куда! . . . . . .
Летимъ — сорвалъ бразды шелковы
Неукротимый конь судьбы
И брызжутъ пламенемъ подковы,
Гремя о плиты и гробы.
Я обезумѣлъ, воздухъ свищетъ
— Все вдаль и вдаль — надежда прочь
И вотъ на насъ упала ночь,
И подъ скалою бездна прянетъ,
Надъ головой расшибся громъ,
И конь, и всадникъ, прянувъ съ края,
Кусты и глыбы отрывая,
Въ пучину рухнулись кольцомъ.
Замлѣло сердце! вихрь кончины
Мнѣ обуялъ и взоръ и умъ.
Раздавленъ на бреку пучины
Едва я слышу ревъ и шумъ.
Вотъ набѣгаютъ грозно, жадно,
За валомъ валъ на перерывъ;
Ужъ мой отчаянный призывъ
Стихаетъ — залитъ пѣной хладной,
— И вдругъ, съ утеса на утесъ,
Какъ вихрь, потокъ меня понесъ

. . . . . .

Очнулся я отъ страшной грезы,
Но все душа тоски полна,
И мнилось, цѣпь меня желѣзы
Къ веслу убогаго челна.

Вдаль, отуманенным покоем,
Меж сокрушающихся льдин,
Заботно озираясь оком,
Плыву я грустен и один.
На чуждом небе тьма ночная;
Как сон бежит далекий брег
И шуму жизни чуть внимая
Стремлю туда невольный бег,
Где вечен лед, и вечны тучи
И вечносемая мгла,
Где жизнь зачахнув, умерла,
Среди пустынь и тундр зыбучих
Где небо, степь и лоно вод
Въ безрадостный сліяны сводъ,
Где въ пустотѣ блуждаютъ взоры
И даже нѣтъ стопѣ опоры!
Плыву — на тихомъ сердцѣ хладъ,
Дремотой лѣни — тяжки вѣжды,
И звѣзды некрами надежды
Въ угрюмомъ небѣ не горятъ.
Забвенья токъ меня лелѣетъ,
Мечта уснула надъ веслом,
И время въ тихій парусъ вѣетъ
Своимъ мирительнымъ крыломъ.
Все мертво у меня кругомъ
И близко бездна океана
— Бѣлѣетъ саваномъ тумана.

1829.

Я за моремъ синимъ, за синею далью
Сердце свое схоронилъ.
Я тоской о быломъ ледовитой печалью,
Словно двойной нерушимою сталью,
Грудь отъ людей заградилъ.
И крѣпокъ мой сонъ. Не разбитъ, нерасколотъ
Щитъ мой. Но въ мракѣ ночей
Мнится порой, раступился мой холодъ,
И снова я ожилъ, и снова я молодъ
Взглядомъ прелестныхъ очей.

1824.

ПРИМѢЧАНІЯ.

1) Саатырь — значитъ «игривая.» Содержаніе этой баллады взято изъ якутской сказки.
2) Якуты до сихъ поръ не кинули обычая при болѣзняхъ призывать шамановъ, которые гаданья, леченья и мольбы свои сопровождаютъ воплями и звуками бубна (дюгюръ).
3) Якутскія узды нерѣдко увѣшиваются позвонками.
4) Въ старину они вѣшали гробы свои на деревьяхъ или ставили ихъ на подрубленныхъ пняхъ.
5) Серебряныя украшенія женскія, сдѣланныя довольно искусно изъ цѣпочекъ и пластинокъ, весьма широкихъ.
6) Якуты боятся прикосновенія къ мертвымъ.
7) Шаманы болѣе прочихъ пользовались правомъ воздушнаго погребенія. Еще теперь въ дикихъ мѣстахъ можно видѣть гробы ихъ.
8) Колода, пустая въ срединѣ и расколотая пополамъ — Якутскій гробъ.
9) Аяхъ — огромный кубокъ; въ него входитъ ведра полтора, но я видѣлъ удальцовъ, которые осушали его съ разу. Прожорство Якутовъ на праздникахъ (иесыхъ) не вѣроятно: — въ моихъ глазахъ одинъ изъ нихъ выпилъ 30 фунтовъ растопленнаго масла.
10) Чувалъ — каминъ, очагъ, онъ стоитъ по срединѣ юрты, спинкою ко входу. Якуты не знаютъ иныхъ печей.
11) Суевѣрія всѣхъ народовъ сходны. Якуты вѣрятъ, что колдуны ихъ покидаютъ ночью гробы свои, плящутъ, бьютъ въ бубны, стараются вредить живымъ, и тому подобное.

ВЗГЛЯДЪ НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ ВЪ ТЕЧЕНІИ 1823 ГОДА.

Въ старину, науки зажигали свѣтильникъ свой въ погасающихъ перунахъ войны, и цвѣты краснорѣчія всходили подъ тѣнію мирныхъ оливъ. Въ наши времена, когда состояніе ученаго и воина не сливается уже въ одну черту, мы видимъ совсѣмъ противное: топографъ и антикварій повѣряютъ свои открытія подъ знаменемъ бранным; громъ отдаленныхъ сраженій одушевляетъ слогъ авторовъ и пробуждаетъ праздное вниманіе читателей; газеты превращаются въ журналы, и журналы въ книги; любопытство растетъ, воображеніе, недовольное существомъ, алчетъ вымысловъ, и подъ политическою печатью, словесность кру-

жится въ обществѣ. Это было и съ нами въ отечественную войну. Наполеонъ обрушился на насъ — и всѣ страсти, всѣ выгоды, пришли въ волненіе; взоры всѣхъ обратились на поле битвы, гдѣ полсвѣта боролось съ Россіей, и цѣлый свѣтъ ждалъ своей участи. Тогда слова: *отечество* и *слава* электризовали каждаго. Каждый листокъ, гдѣ было что-нибудь отечественное, перелеталъ изъ рукъ въ руки съ восхищеніемъ. Похвальныя пѣсни, плохи или хороши онѣ были, раздавались по улицамъ и имъ рукоплескали въ гостиныхъ; — однимъ словомъ все тогда казалось прекраснымъ, потому что все было истиннымъ. Но политическая буря утихла; укротился и энтузіазмъ. Вниманіе наше, утомленное блескомъ побѣдъ и подвиговъ, превышающихъ всѣ затѣйливыя сказки Востока, и воображеніе, избалованное чудесными, напряженное великимъ — постепенно погрузилось опять въ бездѣйственный покой. Огнистая лава вырвалась и разлилась, подвигнула океанъ — и застыла. Пепелъ лежитъ на ея челѣ, но въ этомъ пеплѣ таится растительная жизнь, и когда-нибудь разовьются на ней драгоцѣнные виноградники. Вотъ картина любви нашихъ соотечественниковъ къ словесности послѣ войны; но теперешнему ея состоянію были еще и другія

границы. — Вдохновеніе послѣ сильныхъ ощущеній обратилось въ лѣнивую привычку; непостоянная публика придала вкусъ ко всему отечественному, какъ чувство, и бросила его, какъ моду. Война возвратилась съ лаврами на челѣ, но съ Французскими фразами на устахъ, и затаившаяся страсть къ галлицизмамъ, закипѣла вдругъ во всѣ состоянія, сильнѣй чѣмъ когда-либо. Слѣдствіемъ этого было совершенное охлажденіе лучшей части общества къ родному языку и поэтамъ, начинавшимъ возникать въ это время, — и наконецъ совершенное оцѣпенѣніе словесности въ прошедшемъ году. Такъ гаснетъ лампада безъ тлѣнія воздуха, такъ заглушается дарованье безъ ободреній! О прочихъ причинахъ, замедлившихъ ходъ словесности, мы скажемъ въ свое время.

Приступаю къ дѣлу.

Ни одинъ еще годъ не былъ бѣднѣе оригинальными произведеніями прошедшаго 1823. За исключеніемъ книгъ, до точныхъ наукъ относящихся, вся наша словесность заключалась въ журнальныхъ, при томъ весьма немногихъ статьяхъ. Лишь печатные промышленники тиснули вторымъ и третьимъ изданіемъ сонники и разбойничьи романы, для домашняго обихода въ провинціяхъ. Первой появилася

порядочные и сомнительные переводы прекрасныхъ романовъ Вальтера Скотта; но ни одно изъ сихъ творенiй не вынесло имя переводчика на поверхность сонной Леты; во-первыхъ потому, что пора славы за прозаическiе переводы уже миновала, а во вторыхъ и слогъ ихъ слишкомъ небреженъ.

Изъ оригинальныхъ книгъ вышли въ свѣтъ, нынѣшняго года: *Новѣйшiя извѣстiя о Кавказѣ*, С. Броневскаго и *Путешествiе по Тавриде*, Муравьева-Апостола. Обѣ сiи книги во всѣхъ отношенiяхъ заслуживаютъ вниманiе Европейцовъ, и особенную благодарность Русскихъ. Точность историческихъ извѣстiй, новость свѣдѣнiй географическихъ и чистота слога, вѣнчаютъ ихъ похвалою археологовъ, и литтераторовъ, и вообще дѣлаютъ ихъ необходимыми книгами для ученаго и свѣтскаго человѣка. Г. Булгаринъ, въ своихъ *Запискахъ о Испанiи*, какъ очевидецъ, описалъ живо и занимательно многiе случаи народной войны Испанцевъ съ Французами, обычаи жителей и натуру благословенной стороны Иберiи. Разсказъ его свѣжъ и разнообразенъ, изложенiе быстро; и выборъ предметовъ новъ. Г-нъ Мерзляковъ издалъ *Краткое начертанiе теорiи изящной словесности*, весьма полезное для учащихся и учащихъ, гдѣ онъ удачно соединилъ

Эдинбургу. Слогъ его облеченъ убѣжденіемъ, сладостью и красотою. Сочиненіе г. Бутурлина *О нашествіи Наполеона на Россію*, и книжечка графа Растопчина: *Правда о пожарѣ Москвы*, только по именамъ сочинителей принадлежатъ къ Русской словесности, потому что писаны по Французски; что же касается до слога переводовъ ихъ, онъ неровенъ и исполненъ галлицизмовъ. Въ числѣ книгъ полемическихъ замѣтимъ: *Примѣчанія* г. Грамматина, *на слово о полку Игоревомъ*, въ которомъ онъ разрѣшилъ многія сомнительныя мѣста; но тонъ самоувѣренности не всегда доказываетъ, что его доказательства безспорны. Г. Гречъ издалъ опытъ новой Русской грамматики подъ именемъ *корректурныхъ листовъ*, гдѣ развертываетъ совершенно новыя и ближайшія къ природѣ Русскаго языка, начала. К. Калайдовичъ, почтенный археологъ нашъ, проявившій [illegible] старинъ Русской, напечаталъ статью: *Археологическія изслѣдованія въ Рязанской губерніи*, гдѣ видѣнъ острый взглядъ знатока и опытность ученаго. *Новое дѣтское чтеніе* Св. Глинки по слогу и цѣли своей имѣетъ большее достоинство, и его же *краткая Русская Исторія* достойна быть ручною книжкою въ отечественныхъ [illegible]. Симъ заключается книжная [illegible]

Маленькая поэма *Оскаръ Альтосъ*, г-на Олина и переводъ *Воспоминаній Лесуве*, г-на Глѣбова, были единственными отдѣльными стихотвореніями. Содержаніе первой взято изъ Оссіана; въ ней бѣглые стихи, нѣсколько удачныхъ картинъ, искры чувства — и только. Достоинство же другой заключается въ вѣрности перевода и плавности стихосложенія. Говоря о театрѣ, трудно рѣшить: авторы, актеры или публика были виною упадка его? Вѣроятно, что всѣ въ свою очередь; но то уже безспорно, что никогда театръ и сцена не были пустѣе. Не считая пiесъ, которыя не читаются и не играются, одни старинныя оперы забавляли праздничныхъ зрителей, а драмы и переводныя новинки продовольствовали публику въ теченіи недѣли. Изъ числа послѣднихъ, князя Шаховскаго, беретъ безусловное первенство надъ прочими. *Деревенскій философъ*, комедія г. Загоскина, раскрывающая забавныя черты нашихъ барчей, доказываетъ комическій даръ автора. *Сафо*, лирическая трагедія г. Сушкова, имѣетъ только одинъ недостатокъ: именно, что героиня пiесы топится въ 4-мъ, а не въ 1-мъ актѣ. Въ *Персеѣ* г. Ростовцова, есть сильные стихи, удачныя сцены, счастливыя мысли — и недостатокъ дѣйствія. Двѣ послѣднія трагедіи не были пред-

ставлены, и только прекрасный переводъ Федры г. Лобановымъ, одушевилъ умирающую сцену. Въ ней жаръ чувствъ и прелесть стиховъ и краткость выраженій, переданы точно и плавно. Публика увѣнчала переводчика рукоплесканіями, а критика заслуженною похвалою.

Чтенія публичныя въ литературныхъ обществахъ, возбуждая соревнованіе между молодыми писателями, разливаютъ и въ публикѣ вкусъ къ родной словесности. Нерѣдко тѣ, которые пріѣзжаютъ туда, чтобы другихъ посмотрѣть, или показать себя, возвращаются домой съ новыми понятіями и съ полезнѣйшею охотою. По обычаю, Императорская Россійская Академія имѣла свое годичное торжественное засѣданіе, и тамъ знаменитый исторіографъ нашъ, Н. М. Карамзинъ, растрогалъ слушателей отрывкомъ своимъ изъ 10 тома Ист. Гос. Росс. о убійствѣ царевича Димитрія. Что сказать о совершенствѣ слога, о силѣ чувствъ! Сіи качества отъ столь прекраснаго начала, идутъ все выше и выше, какъ орелъ, устремляющійся съ вершины горъ въ небо. Г. Жуковскій читалъ прекрасный отрывокъ изъ переводимой имъ Энеиды, и князь Шаховской отрывокъ изъ высокой комедіи своей *Аристофанъ*. Общество соревнователей благотворенія и про-

сѣданія имѣло тоже одно публичное засѣданіе, гдѣ разнообразіе предметовъ шло наравнѣ съ занимательностію ихъ и любопытствомъ слушателей. Между прочими достойными пьесами отличалась трогательная сцена изъ Шиллеровой *Іоанны д'Аркъ* Жуковскаго, и *Посланіе къ Державину* г. Туманскаго: оно обличаетъ талантъ молодаго пѣвца. Въ прочемъ: Греча, и князя Вяземскаго отрывки изъ писемъ И. И. Дмитріева. Общество при Московскомъ университетѣ собиралось для публичныхъ засѣданій ежемѣсячно; труды его напечатаны. Должно сознаться, что литературные журналы всей Европы, при нынѣшней всеобщей умонаклонности къ политикѣ — весьма незначительны, и въ этомъ отношеніи Русскіе, нерѣдко, берутъ надъ ними преимущество. Изъ періодическихъ изданій отличается у насъ полезными изысканіями до отечественныхъ древностей и языка относящимися; *Труды общества при Московскомъ университетѣ*. Въ каждой части оныхъ всегда есть много дѣльнаго. Въ *сочиненіяхъ и переводахъ*, издаваемыхъ Россійскою академіею, помѣщались переводы съ старыхъ и новыхъ языковъ, критики и этимологія словъ Русскихъ. *Дамскій журналъ* (издатель г. Шаликовъ, въ Москвѣ) плѣняетъ читателей лучшею любезностію, печатными пѣ-

тиками, довольно нелюбопытными письмами и мѣлыми стихами. *Журналъ художествъ* (изд. г. Григоровичемъ въ С. Петербургѣ), достойный благодарности по цѣли, и похвалы по исполненію, составлялся изъ прекраснѣйшихъ критическихъ, теоретическихъ и описательныхъ статей, до изящныхъ художествъ касающихся, написанныхъ съ чувствомъ знатока и языкомъ опытнаго художника. Его еще мало у насъ оцѣнили. *Сибирскій вѣстникъ*, (изд. г. Спасскій въ С. Петербургѣ) содержалъ въ себѣ весьма любопытныя извѣстія о Сибири, которая менѣе извѣстна намъ самимъ, чѣмъ земля Эскимосовъ. *Инвалидъ* (изд. г. Воейковъ въ С. Петербургѣ) принадлежитъ къ словесности только своими *прибавленіями*, въ коихъ, если онъ былъ бѣднѣе другихъ прозою, за то богатѣе всѣхъ хорошими стихами. Стихотворенія г. Языкова, нѣкоторыя пьесы г. Плетнева, князя Вяземскаго, Жуковскаго, прелестное *Посланіе къ Гнѣдичу* Баратынскаго и *Невское кладбище*, самаго издателя, украсили оный. *Благонамѣренный* (изд. Г. Измайловъ въ С. Петербургѣ) забавенъ для своего круга. *Журналъ общества соревнователей просвѣщенія и благотворенія* (въ С. Петербургѣ), издаваемый съ столь священною цѣлью, нерѣдко заключалъ въ себѣ достойные его листки. Меж-

ду прочими: *О древнихъ посольствахъ въ Россію*, г. Корниловича, *О романтизмѣ* г. Сомова, и *разборъ Русскихъ писателей*, князя Цертелева, достойны вниманія. *Отечественныя записки* (изд. г. Свиньинъ, въ С. Петербургѣ) хотя не всегда съ историческою точностію, но всегда съ патріотическимъ жаромъ, хранили и передавали черты народнаго права, частныхъ дѣлъ, и замѣчательныхъ событій. *Вѣстникъ Европы* (изд. г. Каченовскій, въ Москвѣ), патріархъ Русскихъ журналовъ, правда далеко отсталъ въ поэзіи отъ Петербургскихъ періодическихъ изданій, но по части прозаической, шелъ обыкновеннымъ своимъ, твердымъ, шагомъ. Въ немъ въ прозѣ замѣтны статьи: г. Гусева, о *метафизикахъ Нѣмецкихъ*, и о *Русскомъ языкѣ*, неизвѣстнаго; по стихотвореніямъ: отрывокъ изъ комедіи *Лукасинъ*, г. Писарева, и его же *Пиръ мудрецовъ*. *Сѣверный архивъ* (въ С. Петербургѣ), издатель Г. Булгаринъ, съ пожаромъ археологіи спускался въ неразработанные еще рудники нашей старины, и собираніемъ важныхъ матеріаловъ оказалъ большую услугу Русской Исторіи. Всѣ новѣйшія путешествія, наши и чужестранныя, являлись тамъ первые. Тамъ же *критика*, Леллевели, на *исторію Государства Россійскаго* была пріятнымъ и рѣдкимъ феноменомъ въ областяхъ

словесности; безпристрастіе, здравый умъ и глубокая ученость составляютъ ея достоинство. *Прибавленія къ Сѣверному архиву*, г. Булгарина же, оживляютъ на берегахъ Невы Парижскаго пустынника. Живой, забавный слогъ и новость мыслей, готовятъ въ нихъ для публики занимательное чтеніе, а оригиналы столицы, и нравы здѣшняго свѣта — неисчерпаемые источники для его сатирическаго пера. *Сынъ отечества* (изд. г. Гречъ, въ С. Петербургѣ) неизмѣнный поборникъ чистоты языка, по привычкѣ заключалъ въ себѣ много дѣльныхъ статистическихъ статей, и очень хорошихъ стихотвореній. Въ числѣ критикъ: (мимоходомъ, весьма плодовитыхъ) особенно замысловаты: *Письма на Кавказъ*, самаго издателя. Въ произведеніяхъ поэзіи замѣтны: *Василекъ*, прекрасная басня И. А. Крылова; *Путешественникъ*, Жуковскаго; *Послѣдній Бардъ*, Мансурова; *Май*, Туманскаго, отрывокъ изъ *освобожденнаго Іерусалима*, Раича, и нѣкоторыя другія. *Прибавленія къ Сыну Отечества* (изд. г-да Княжевичи, въ С. Петербургѣ) отличаются прекраснымъ выборомъ повѣстей, и чистымъ, плавнымъ языкомъ. Между немногихъ оригинальныхъ пьесъ носитъ отпечатокъ народности *Иванъ Костянъ*, г. Панаева; прочія пере-

ведены съ разныхъ языковъ. — Вообще же во всѣхъ почти журналахъ, число оригинальныхъ произведеній къ числу переводовъ, относилось, какъ два къ десяти, а пропорція чисто-литературныхъ статей къ ученымъ, была едвали не тоще: это печально.

Мало по малу Европа сквозь тусклые переводы начинаетъ распознавать нашу словесность. Въ прошломъ году, почти всѣ повѣсти изъ Полярной Звѣзды были переданы на Нѣмецкій языкъ въ журналѣ г. Ольдекопа, и повторились въ другихъ заграничныхъ журналахъ. Г. Липде перевелъ на Польской, всѣ статьи до исторіи Русской литературы касающіяся и приложилъ при переводѣ книги о томъ же предметѣ г. Греча; наконецъ г. Сенъ-Моръ, по слѣдамъ Боуринга *, Борха. ** и Гетце ***, примѣрныхъ переводчиковъ-поэтовъ, издалъ нынѣ на Французскомъ языкѣ *Русскую Антологію*; но опытъ его былъ равно неудаченъ, какъ переводъ и какъ сочиненіе: въ копіи нѣтъ и слѣдовъ національности образца. Русскіе цвѣты потеряли тамъ не только запахъ, но даже и самый цвѣтъ свой.

Такъ прокрался въ вѣчность молчаливый прошедшій годъ; казалось онъ былъ осенью для

* Russian Anthology. — ** Poetische Erzeugnisse der Russen.
*** Stimmen des Russischen Volkes.

соловьевъ нашей поэзіи и только въ Полярной Звѣздѣ отозвались они, — и умолкли снова; только (съ благодарностію замѣчаемъ), по быстрому и благосклонному пріему Полярной Звѣзды, замѣтно было, что еще не погасъ жаръ къ отечественной словесности въ публикѣ; впрочемъ надобно и то сказать, что Русской языкъ, подобно Германскому въ XVIII вѣкѣ, возвышается нынѣ, не смотря на неблагопріятныя обстоятельства. Теперь ученики пишутъ такимъ слогомъ, котораго самые геніи сперва рѣдко добывали, и теряя въ числительности твореній, мы выигрываемъ въ чистотѣ слога. Одинъ недостатокъ — у насъ мало творческихъ мыслей. Языкъ нашъ можно уподобить прекрасному усыпленному младенцу: онъ лепечетъ сквозь сонъ гармоническія звуки, или стонетъ о чемъ-то; — но лучъ мысли рѣдко блуждаетъ по его лицу. Это младенецъ, говорю я, но младенецъ-Алкидъ, который въ колыбели еще удушалъ змѣй! — И вѣчно ли спать ему?

P. S. Лишь теперь вышло въ свѣтъ: *Путешествіе около свѣта*, г. Головнина. Первая часть его посвящена разсказу и описаніямъ, истинно романическимъ; слогъ оныхъ проникнутъ занимательностію, дышитъ искренностію, цвѣтетъ простотою. Это находка для

моряковъ и для людей свѣтскихъ. Еще спѣшимъ обрадовать любителей поэзіи; маленькая, и какъ слышно, и какъ несомнѣнно, прекрасная поэма А. Пушкина *Бахчи-Сарайской фонтанъ*, уже печатается въ Москвѣ.

ВЗГЛЯДЪ НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ ВЪ ТЕЧЕНІИ 1824 И НАЧАЛЪ 1825 ГОДОВЪ.

Словесность всѣхъ народовъ, совершая свое круготеченіе, слѣдовала общимъ законамъ природы. Всегда первый ея вѣкъ былъ возрастомъ сильныхъ чувствъ и геніальныхъ твореній. Просторъ около умовъ высокихъ порождаетъ геніевъ: они рвутся расшириться душею и наполнить пустоту. По времени кругъ сей стѣсняется; столбовая дорога и полузнатые вѣнки не прельщаютъ ихъ. Жажда новаго ищетъ нечерпанныхъ источниковъ, и геніи смѣло кидаются въ обходъ мимо толпы въ поискѣ новой земли міра нравственнаго и вещественнаго; пробиваютъ свои стези; творятъ небо, землю и адъ родникомъ вдохновеній; печатлѣютъ на вѣкахъ свое имя,

на одноземцахъ свой характеръ, озаряютъ о бонхъ своей славою, и все человѣчество своимъ умомъ!

За симъ вѣкомъ творенія и полноты слѣдуетъ вѣкъ посредственности, удивленія и отчета. Пѣсенники послѣдовали за лириками, Комедія вставала за Трагедіею; но Исторія, Критика и Сатира были всегда младшими вѣтвями словесности. Такъ было вездѣ, кромѣ Россіи; ибо у насъ вѣкъ разбора предъидетъ вѣку творенія; у насъ есть критика и нѣтъ литтературы; мы пресытились не вкушая, мы въ ребячествѣ стали брюзгливыми стариками! Постараемся разгадать причины столь страннаго явленія.

Первая заключается въ томъ, что мы воспитаны иноземцами. Мы всосали съ молокомъ безнародность и удивленіе только къ чужому. Измѣряя свои произведенія исполинскою мѣрою чужихъ геніевъ, намъ съ высока видится своя малость еще меньшею, и это чувство, несогрѣтое народною гордостію, вмѣсто того, чтобы возбудить рвеніе, сотворить то, чего у насъ нѣтъ, старается унизить даже и то, что есть. Къ довершенію нещастія мы выросли на одной Французской литтературѣ, вовсе несходной съ нравомъ Русскаго народа, ни съ духомъ Русскаго языка. Заставъ ее,

послѣ блестящихъ произведеній, въ порѣ полемическихъ сплетней, и принявъ за образецъ бездушныхъ умниковъ вѣка Людовика XV, мы и сами принялись толковать обо всемъ вкривь и вкось. Говорятъ: чтобы все выразить, надобно все чувствовать, но развѣ не надобно всего чувствовать, чтобы все понимать? а мы слишкомъ бѣстрастны и слишкомъ лѣнивы и недовольно просвѣщены, чтобы и въ чужихъ авторахъ видѣть все высокое, оцѣнить все великое. Мы выбираемъ себѣ авторовъ по плечу, восхищаемся д'Арленкурами, критикуемъ Лафаровъ и Делилевъ и замѣтьте: перебранивъ все что у насъ было вздорнаго, мы еще не сдѣлали комментарія на лириковъ и баснописцевъ, которыми истинно можемъ гордиться.

Сказавъ о первыхъ причинахъ, упомяну и о главнѣйшей; теперь: мы начинаемъ чувствовать и мыслить — по ощупью. Жизнь необходимо требуетъ движенія, а развивающійся умъ дѣла; онъ хочетъ шевелиться, когда не можетъ летать, но не занятый политикою — весьма естественно, что дѣятельность его хватается за все, что попадется, а какъ источники нашего ума очень мелки для занятій важнѣйшихъ, мудрено-ли, что онъ кинулся въ кумовство и пересуды! Я говорю не объ одной словесности: всѣ наши общества зараже-

ны тою же болѣзнію. Мы, какъ дѣти, которые прокалываютъ черную свою саму надъ нарушнѣйши, ломая ихъ и любопытно разглядывая, что внутри.

Теперь спрашивается: полезна или нѣтъ періодическая критика? Джеффери говоритъ, что «она полезна для періодической критики.» Мы не можемъ похвалиться и этимъ качествомъ: наша критика не далеко ушла въ основательности и приличіи. Она ударилась въ сатиру, въ частности и болѣе въ забаву чѣмъ въ пользу. Словомъ, я думаю, наша подсудимая полезнѣе для журналистовъ, нежели для журналовъ, потому что критиковъ, антикритиковъ и перекритиковъ мы видимъ много, а дѣльныхъ критиковъ мало: но между тѣмъ листы наполняются, и публика, зѣвая надъ статьями вовсе для нея незанимательными, должна разбирать по складамъ надгробія безвѣстныхъ людей... Справедливо ли однакожъ, такъ мало заботиться о пользѣ современниковъ, когда подобнымъ критикамъ такъ мало надежды дожить до потомства?

Мнѣ могутъ возразить, что это дѣлается не для наставленія неисправимыхъ, а для предупрежденія молодыхъ писателей. Но, скажите мнѣ, кто ставитъ охранный маякъ въ лужѣ? Кто будетъ читать глупости для того, чтобы не писать ихъ?

Говоря это, я не разумѣю однакожь о критикѣ, которая аналитически, вообще, занимается установкою правилъ языка, открываетъ литтературныя злоупотребленія, разлагаетъ исторію, и словомъ, вездѣ, во всемъ отличаетъ истинное отъ ложнаго. Тамъ, гдѣ самохвальство, взаимная похвальба и несаслуженныя брани дошли до крайней степени, тамъ критика необходима для разрушенія заговоренныхъ броней какой-то мнимой славы и самонадѣянности, для обличенія самозванцевъ литтераторовъ. Желательно только, чтобы критика сія отвергла всѣ личности, всѣ частности, всѣ расчетные виды; чтобы она не корпѣла надъ занятыми, и имѣла бы взоръ болѣе общій, правила болѣе стихійныя. Лица и случайности проходятъ, но народы и стихіи остаются вѣчно.

Изъ вопроса, почему у насъ много критики, необходимо слѣдуетъ другой: отъ чего у насъ нѣтъ геніевъ и мало талантовъ литтературныхъ? Предвижу отвѣтъ многихъ, что отъ *недостатка ободренія!* Такъ, его нѣтъ, и слава Богу! — Ободреніе можетъ оперить только обыкновенныя дарованія: огонь очага требуетъ хворосту и мѣховъ, чтобы разгорѣться — но когда молнія просила людской помощи, чтобы вспыхнуть и рѣять въ небѣ!

Гомеръ нищенствуя пѣлъ свои безсмертныя пѣсни; Шекспиръ подъ лубочнымъ навѣсомъ возвеличилъ трагедію; Мольеръ изъ платы смѣшилъ толпу; Торквато изъ сумасшедшаго дома шагнулъ въ Капитолій; даже Вольтеръ лучшую свою поэму написалъ углемъ на стѣнахъ Бастиліи. Геніи всѣхъ вѣковъ и народовъ, я вызываю васъ! Я вижу въ блѣдности, изнеможденныхъ гоненіемъ, или недостаткомъ, лицъ вашихъ — разсвѣтъ безсмертія! Скорбь есть зародышъ мыслей, уединеніе ихъ горнило. Порохъ на воздухѣ даетъ только вспышки, но сжатый въ желѣзѣ онъ рвется выстрѣломъ, и двигаетъ, и рушитъ громады. . . и въ этомъ отношеніи къ свѣту мы находимся въ самомъ благопріятномъ случаѣ. Уваженіе или, по крайней мѣрѣ, вниманіе къ уму, которое ставило у насъ богатство и породу на одну съ нимъ доску, наконецъ, къ радости сихъ послѣднихъ, исчезло. Богатство и связи безраздѣльно захватили все вниманіе толпы, — но тутъ-то и выигрышъ, конечно, не таланта! Иногда корыстныя ласки Меценатовъ балуютъ перо автора; иногда не достаетъ собственной рѣшимости вырваться изъ блестящихъ сѣтей свѣта; — но теперь свѣтъ съ презрѣніемъ отвергъ его дары, или допускаетъ въ свой кругъ не иначе, какъ съ условіемъ носить на себѣ

плѣнно подобнаго, отраднаго ему пиитчества, отражать искру Божества: какъ прямо, отрадно-ся доблести какъ порыва!! Уединеніе совершенно, душа проситъ природы; богатое, неверванное лоно старины, и мощнаго, единаго цѣлаго, передъ нимъ разступается: вотъ стихія поэта, вотъ колыбель генія!

Однакожъ такія чувства могутъ зараждаться только въ душахъ, куда заранѣ брошены были сѣмена ученія и размышленія; только въ людяхъ увлеченныхъ случайнымъ размышленіемъ, у которыхъ есть къ чему воротиться. Но таково ли наше воспитаніе? Мы учимся принужденно; и отъ того навсегда теряемъ способность и охоту къ дальнымъ, къ долгимъ занятіямъ! При самыхъ щастливыхъ дарованіяхъ мы едва имѣемъ время на лету схватить отдѣльныя мысли; но связывать, располагать, обдумывать расположенное, не было у насъ ни въ случаѣ, ни въ привычкѣ. У насъ юноша съ учебнаго гулянья спѣшитъ на балъ; а едва придетъ истинный возрастъ ума и ученія, онъ уже въ службѣ; и ужъ онъ дѣловой — и вотъ всѣ его умственныя жизненныя силы убиты въ цвѣту раннимъ напряженіемъ, и онъ цѣлый вѣкъ остается гордымъ ученикомъ, отъ того, что ученикомъ въ свое время не былъ. Сколько людей, которые бы могли прославить дѣломъ

или славенъ свое отечество, гибнутъ, дремля душой въ пыли подлаго ничтожества, исчезаютъ по землѣ, какъ мимолетная тѣнь облака. Да и что въ прозаическомъ нашемъ быту, что безъ идеальныхъ характеровъ, можетъ разбудить душу? что заставитъ себя почувствовать? Наша жизнь — безцвѣтная китайская мозаика у нашего свѣта — проба воображеній!

Такъ ли жили, такъ ли научались просвѣтители народовъ? Нѣтъ! въ тишинѣ затворничества зрѣли ихъ души. Терновою стезею лишеній пробивались они къ совершенству. Конечно слава не всегда летитъ объ руку съ геніемъ; часто современники гнали, не понимая ихъ; но звѣзда будущей славы согрѣвала вдохновеніе и озаряла для нихъ мракъ минувшаго, которое допрошали они, дабы разгадать современное и научить потомство. Правда и они прошли черезъ свѣтъ, и они видѣли страсти людей; за то имѣли и взоръ наблюдателей. Они выкупили свои проступки удрученною съ пытливостію и глубокимъ познаніемъ сердца человѣческаго. Не общество увлекло ихъ, но они повлекли за собой общества. Ричардсонъ, Альфіери, незамѣнимый Бейронъ, гордо сбросили съ себя золотыя цѣпи Фортуны, презрѣли всѣми замашками большаго свѣта, — за то вѣдый

свѣтъ подъ ними, и вѣчный день славы ихъ наслѣдіе!!

Но кромѣ пороковъ воспитанія, кромѣ затѣйливаго однообразія жизни нашей, кромѣ многосторонности и безличія самаго ученія (quand même), которое во все мѣшается, все смѣшиваетъ, и ничего не вовлекаетъ, — насъ одолѣла страсть къ подражанію. Было время, что мы не впопадъ вздыхали по Стерновски, потомъ любезничали по Французски, теперь залетѣли въ тридевятую даль по Нѣмецки. Когда же попадемъ мы въ свою колею? когда будемъ писать прямо по Русски? Богъ вѣсть! До сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, наша муза остается невѣстою-невидимкою. Конечно можно утѣшиться тѣмъ, что мало потери, такъ или сякъ пишутъ сотни чужестранныхъ и междуусобныхъ подражателей; но я говорю для людей съ талантомъ, которые позволяютъ себя водить на помочахъ. Оглядываясь назадъ, можно кѣмъ назади остаться, ибо время съ каждой минутой разводитъ насъ съ образцами. Притомъ всѣ образцовыя дарованія носятъ на себѣ отпечатокъ не только народа, но вѣка и мѣста, гдѣ жили онѣ, слѣдовательно подражать имъ рабски въ другихъ обстоятельствахъ — невозможно и неумѣстно. Творенія знаменитыхъ писателей должны быть только мѣрою достоин-

ство нашихъ твореній. Такъ чужое высокое понятіе порождаетъ въ душѣ истиннаго поэта невѣдомыя доселѣ понятія. Такъ, по словамъ астрономовъ, изъ обломковъ сшибающихся коментъ образуются новые, прекраснѣйшіе міры!

Я могъ бы дольше и подробнѣе изслѣдовать сказанныя причины; я бы долженъ былъ присовокупить къ нимъ и раннее убаюкиваніе талантовъ незаслуженными похвалами, или чрезмѣрнымъ самолюбіемъ; но уже время оставить причины, взглянуть на произведенія.

Прошедшій годъ утѣшилъ насъ за безмолвіе 1823. Н. М. Карамзинъ выдалъ въ свѣтъ X и XI томы *Исторіи Государства Россійскаго*. Не входя, по краткости сего обзора, въ разсмотрѣніе историческаго ихъ достоинства, смѣло можно сказать, что въ литтературномъ отношеніи мы нашли въ нихъ клады. Тамъ видимъ мы свѣжесть и силу слога, заманчивость разсказа, и разнообразіе въ складѣ и звучности оборотовъ языка, столь послушнаго подъ рукою истиннаго дарованія. Сими двумя томами началась и заключилась однакожъ изящная проза 1824 года. Да и вообще, до сихъ поръ, творенія почтеннаго нашего исторіографа возвышаются подобно пирамидамъ на степи Русской прозы, изрѣдка освѣжаемой нѣ-

тучими журнальными бедуинами, или тяжелодвижущимися караванами переводовъ. Изъ оригинальныхъ книгъ появились только *повѣсти г. Нарѣжнаго*. Онѣ имѣли бъ въ себѣ много характеристическаго и забавнаго, если бы въ ихъ разсказѣ было поболѣе приличія и отдѣлки, а въ произшествіяхъ поменѣе запутанности и чудесъ. Въ родѣ описательномъ, *путешествіе Е. Тимковскаго чрезъ Монголію въ Китай* (въ 1820 и 21 годахъ), по новости свѣдѣній, по занимательности предметовъ и по ясной простотѣ слога, несомнѣнно есть книга Европейскаго достоинства. Изъ переводовъ заслуживаютъ вниманіе: *записки полковника Вутье* о войнѣ Грековъ, переданныя со всею силою, со всею военною искренностію г. Сомовымъ, къ которымъ приложилъ онъ введеніе, полное жизни и замѣчаній справедливыхъ; *Исторія Греческихъ произшествій изъ Раффенеля*, Метаксою, поясненная симъ послѣднимъ; *Добродушный*, очень игриво переведенный г. Дешаплетомъ; *3-я часть Лондонскаго пустынника*, его же и *жизнь Али-Паши Янинскаго*, г. Строевымъ. — Къ сему же числу принадлежитъ и книжечка: *Искуство жить* — извлеченное изъ многихъ новѣйшихъ философовъ и оправленное въ собственныя мысли извлекателя, г. Филимонова. Появилось

также нѣсколько переводовъ романовъ Вальтера Скотта, но ни одинъ прямо съ подлинника и рѣдкіе прямо по Русски.

Исторія древней словесности сдѣлала важную находку въ изданіи *Іоанна Экзарха Болгарскаго*, современника Меѳодіева. Къ чести нашего вѣка надобно сказать, что Русскіе стали ревностнѣе заниматься археологіею и критикою историческою, сими основными камнями исторіи. Книга сія отыскана и объяснена г. Калайдовичемъ, неутомимымъ изыскателемъ Русской старины, а издана въ свѣтъ иждивеніемъ графа Н. П. Румянцова, сего почтеннаго вельможи, который одинъ изъ всей нашей знати не щадитъ ни трудовъ, ни издержекъ для пріобрѣтенія и изданія книгъ, родной исторіи полезныхъ. Такимъ же образомъ напечатанъ и *Бѣлорусскій Архивъ*, приведенный въ порядокъ г. Григоровичемъ. Общество Исторіи и древностей Русскихъ издало 2-ю часть записокъ и трудовъ своихъ; появилось еще 15 листовъ *лѣтописи Нестора по Лаврентьевскому списку*, приготовленныхъ профессоромъ Тимковскимъ.

Стихотвореніями, какъ и всегда, протекшіе 15 мѣсяцевъ, изобиловали болѣе чѣмъ прозою. В. А. Жуковскій издалъ въ полнотѣ разсѣянныя по журналамъ свои сочиненія,

Между новыми достойно красуется переводъ Шиллеровой *Девы Орлеанской*, переводъ, какихъ отъ души должно желать для словесности нашей, чтобы ознакомить ее съ настоящими чертами иноземныхъ классиковъ. Пушкинъ подарилъ насъ поэмою *Бахчисарайской фонтанъ;* похвалы ей и критики на нее, уже такъ истерлись отъ безпрестаннаго обращенія, что мнѣ остается только сказать: она плѣнительна и своенравна, какъ красавица юга. Первая глава стихотвореніе его романа *Онѣгинъ*, недавно появившаяся, есть заманчивая, одушевленная картина неодушевленнаго нашего свѣта. Вездѣ, гдѣ говоритъ чувство, вездѣ, гдѣ мечта уноситъ поэта изъ прозы описываемаго общества — стихи загараются поэтическимъ жаромъ и звучнѣй текутъ въ душу. Особенно разговоръ съ книгопродавцемъ вмѣсто предисловія (это щастливое подражаніе Гёте) кипитъ благородными порывами человѣка, чувствующаго себя человѣкомъ. «Блаженъ, говоритъ тамъ въ негодованіи поэтъ:

Блаженъ, кто про себя таилъ
Души высокія созданья,
И отъ людей, какъ отъ могилъ
Не ждалъ за чувства воздаянья!

И плодъ сихъ чувствъ есть румянская его поэма *Цыгане*. Если можно говорить о томъ что не принадлежитъ еще печати, хотя принадлежитъ словесности: то это произведеніе далеко оставило за собой все, что онъ писалъ прежде. Въ немъ-то геній его, отринувъ великое подражаніе, возсталъ въ первородной красотѣ и простотѣ величественной. Въ немъ-то сверкаютъ молнійные очерки вольной жизни и глубокихъ страстей и усталаго ума въ борьбѣ съ дикою природою. И все это выраженное на дѣлѣ, и не на словахъ, видимое не изъ витіеватыхъ разсужденій, а изъ рѣчей безъискусственныхъ. — Куда не достигнетъ отважный Пушкинъ съ этой высокой точки опоры? — И. А. Крыловъ порадовалъ насъ новыми прекрасными баснями; нѣкоторыя изъ нихъ были напечатаны въ повременныхъ изданіяхъ, и скоро сіи плоды вдохновенія, числомъ до тридцати, покажутся въ полномъ собраніи. Н. И. Гнѣдичъ недавно издалъ сильный и вѣрный свой переводъ (съ ново-греческаго языка) *пѣсень Клефтовъ*, съ приложеніемъ весьма любопытнаго предисловія. Сходство ихъ съ старинными нашими пѣснями разительно. На дняхъ выйдетъ въ свѣтъ поэма И. И. Козлова: *Чернецъ*; судя по извѣстнымъ мнѣ отрывкамъ, она исполнена трогательныхъ изображе-

ній, и въ ней теплятся нѣжныя страсти. *Ночи на гробахъ* князя С. Шихматова въ облакѣ отвлеченныхъ понятій заключаютъ многія красоты піитическія, подобно искрамъ золота, впропленнымъ въ темный гранитъ. Ничего не скажу о *Балладахъ и Романсахъ* г. Покровскаго, потому что ничего лестнаго о нихъ сказать не могу; похвалю въ *Восточной Лютнѣ* г. Шишкова 2-го звонкость стиховъ и плавность языка для того, чтобы похвалить въ ней что-нибудь. Впрочемъ въ авторѣ, порою, проглядываетъ даръ къ поэзіи, но вѣчно въ веригахъ подражанія. Наконецъ упоминаю о стихотвореніи г. Олина *Кальфонъ* для того, что сей наборъ риѳмъ и словъ называется поэмою. Присоединивъ къ сему нѣсколько пріятныхъ бездѣлокъ въ журналахъ, разбросанныхъ Н. Языковымъ, И. И. Козловымъ, Писаревымъ, Нечаевымъ . . . . я подвелъ уже весь итогъ нашей поэзіи.

Русскій театръ въ прошедшемъ году обѣднѣлъ оригинальными пьесами. Замысловатый князь Шаховской очень удачно, однакожъ, вывелъ на сцену Вольтера юношу и Вольтера старика въ дилогіи своей: *ты и вы*, и передѣлалъ для сцены эпизодъ *Финна* изъ поэмы Пушкина Людмила и Русланъ.

Въ Москвѣ тоже давали, какъ говорятъ, хорошій переводъ: *Школы стариковъ* (Делавиня) г. Кокошкина и еще кой-какіе водевили и драмы, о коихъ по слухамъ судить не можно а здѣсь нѣкоторыя драмы обязаны были успѣхомъ своимъ сильной игрѣ г. Семеновой и Каратыгина. Я бы сказалъ что нибудь о печатной, но не игранной комедіи г. Ѳедорова: *Громилова*, еслибы мнѣ удалось дочесть ее. Къ числу театральныхъ предетавленій принадлежитъ и *Торжество музъ*, прологъ г. М. Дмитріева на открытіе большаго Московскаго театра. Въ немъ, хотя форма и очень устарѣла, есть щастливые стихи и свѣтлыя мысли. Но все это выкупила рукописная комедія г. Грибоѣдова: *Горе отъ ума*, феноменъ, какого не видали мы отъ временъ *Недоросля*. Толпа характеровъ, обрисованныхъ смѣло и рѣзко; живая картина Московскихъ нравовъ, душа въ чувствованіяхъ, умъ и остроуміе въ рѣчахъ, невиданная досель бѣглость и природа разговорнаго Русскаго языка въ стихахъ. Все это завлекаетъ, поражаетъ, приковываетъ вниманіе. Человѣкъ съ сердцемъ не прочтетъ ее не сѣявшись, не тронувшись до слезъ. Лорди, привычные даже забавляться по Французской систематикѣ, или оскорбленные зеркальностію сценъ, говорятъ, что въ ней нѣтъ завязки, что

авторъ не по правиламъ правится; — но пусть они говорятъ что имъ угодно: предразсудки разсѣются и будущее оцѣнитъ достойно сію комедію, и поставитъ ее въ число первыхъ твореній народныхъ.

Удача альманаховъ показываетъ нетерпѣливую наклонность времени не только мало писать, но и читать мало. Теперь ходячая наша словесность сдѣлалась карманною. Примѣръ Полярной звѣзды породилъ множество подражаній въ 1824 году. Началось *Мнемозиною*, которая если не по объему и содержанію, то по объявленію издателей принадлежитъ къ дружинѣ альманаховъ. Страсть, писать теоріи, опровергаемыя самими авторами на практикѣ, есть одна изъ примѣтъ нашего вѣка, и она заглавными буквами читается въ Мнемозинѣ. Впрочемъ за исключеніемъ диктаторскаго тона и опрометчивости въ сужденіяхъ, въ г. Одоевскомъ видны умъ и начитанность. Сцены изъ трагедіи *Арзивяне* и пьеса на *смерть Бейрона* г. Кюхельбекера — имѣютъ большое достоинство. На 1825 годъ театральный альманахъ, *Русская Талія* (издатель г. Булгаринъ), между многими хорошими отрывками заключаетъ въ себѣ 3-е дѣйствіе комедіи *Горе отъ ума*, которое беретъ безусловное преимущество надъ другими. Потомъ от-

рывокъ изъ трагедіи *Вячеслав*, Ротру, щастливо передѣланной Жандромъ, и сцены изъ комедіи *Нерешительный* г. Хмельницкаго и *Ворожея* кн. Шаховскаго. Кромѣ этого книжка сія оживлена очень дѣльною статьею г. Греча о *Русском театрѣ* и характерическими выходками самого издателя. — *Русская старина*, изданная г. г. Корниловичемъ и Сухоруковымъ. Изъ нихъ первый описалъ вѣкъ и бытъ Петра великаго, а другой, нравы и обычаи поэтическаго своего народа — казаковъ. Оба разсказа любопытны, живы, занимательны. Сердце радуется видя какъ проза и поэзія скидываютъ свое безличіе и обращаются къ роднымъ, старинным источникамъ. — *Невскій альманахъ* (изд. г. Аладьинъ), не лестный попутчикъ для другихъ альманаховъ. — Наконецъ *Сѣверные цвѣты* собранные барономъ Дельвигомъ, блистаютъ всею яркостію красокъ поэтической радуги, всѣми нюансами старѣйшинъ нашего Парнасса. Хотя стихотворная ея часть гораздо богаче прозаической, но и въ этой особенно занимательна статья г. Дашкова: *Люпская гора* и нѣкоторыя мѣста въ *письмахъ изъ Италіи*. Мнѣ кажется, что г. Плетневъ не совсѣмъ правъ, расточая въ обозрѣніи полною рукою похвалы всѣмъ, и увѣряя нѣкоторыхъ поэтовъ, что они не умрутъ, по-

тому только, что они живы, — но у всякаго свой вѣсъ словъ, у каждаго свое мнѣніе. Изъ стихотвореній прелестны наиболѣе: Пушкина дума *Олегъ*, и *Демонъ*, *Русскія пѣсни* Дельвига и *Черепъ* Баратынскаго. Одинъ только упрекъ сдѣлаю я въ отношеніи къ цѣли альманаховъ: Сѣверные цвѣты можно прочесть не улыбнувшись.

Журналы по прежнему шли своимъ чередомъ, т. е. всѣ кружились по одной дорогѣ: ибо у насъ нѣтъ раздѣленія работы, мнѣній и предметовъ. *Инвалидъ* наполнялъ свои листки и *Новости литературы*, лежалою прозою и перепечатанными стихами. Замѣтимъ, что съ нѣкотораго времени закралась къ издателямъ нѣкоторыхъ журналовъ привычка, помѣщать чужія произведенія безъ спросу, и пользоваться чужими трудами безотвѣтно. *Вѣстникъ Европы* толковалъ о старинѣ и заржавленнымъ циркулемъ измѣрялъ новое. Подобно прочимъ журналамъ, онъ особенно въ прошломъ году изобиловалъ критическою перебранкою; критика на предисловіе къ Бахчисарайскому фонтану, съ ея послѣдствіями, достойна порицанія, если не по предмету, то по изложенію. Подобная личность вредитъ словесности, оправдывая неуваженіе многихъ къ словесникамъ. Этаго мало: — кто-то Русской напеча-

тадъ въ Царицѣ злую выходку на многихъ нашихъ литераторовъ, и передъ глазами цѣлой Европы, не могши показать достоинствъ, обнажилъ можетъ быть мнимые ихъ недостатки и свое пристрастіе. Другой, тамъ же, защищалъ далекихъ обвиненныхъ, хотя не совсѣмъ справедливо, но весьма благородно, и полемическая наша междуусобица загорѣлась на чужой землѣ. 1825 годъ ознаменовался преобразованіемъ нѣкоторыхъ старыхъ журналовъ и появленіемъ новыхъ. У насъ недоставало газеты для насущныхъ новостей, которая соединяла бы въ себѣ политическія и литературныя вѣсти: г. г. Гречъ и Булгаринъ дали намъ ее — это *Сѣверная пчела*. Разнообразіемъ содержанія, быстротою сообщенія новинъ, нерезденнымъ выходомъ и самою формою — она вполнѣ удовлетворяетъ цѣли. Каждое состояніе, каждый возрастъ находитъ тамъ что-нибудь по себѣ. Между многими любопытными и хорошими статьями замѣтилъ я, *о романѣ* г. Сомова и *правы* Булгарина. Жаль, что г. Булгаринъ не имѣетъ времени отдѣлывать свои произведенія. Въ нихъ даже что-то есть недосказанное; но съ его наблюдательнымъ взоромъ, съ его забавнымъ сгибомъ ума, онъ могъ бы достичь прочнѣйшей славы. *Сѣверный Архивъ и Сынъ Отече-*

ства, приняли въ свой составъ повѣсти; этотъ вавилонизмъ не очень понравится ученымъ, но публика любитъ такое смѣшеніе. За чистоту языка всѣхъ 3-хъ журналовъ обязаны мы Г. Гречу — ибо онъ завѣдываетъ грамматическою полиціею. Въ Петербургѣ на сей годъ издается вновь журналъ: *Библіографическіе листки* Г. Кеппеномъ. Это необходимый указатель источниковъ всего писаннаго о Россіи. Въ Москвѣ явился двухнедѣльный журналъ: Телеграфъ изд. г. Полевымъ. Онъ заключаетъ въ себѣ все; извѣщаетъ и судитъ обо всемъ, начиная отъ безконечно малыхъ въ математикѣ до пѣтушьихъ гребешковъ въ соусѣ или до бантиковъ на новомодныхъ башмачкахъ. Неровный слогъ, самоувѣренность въ сужденіяхъ, рѣзкій тонъ въ приговорахъ, вездѣ охота учить и частое пристрастіе — вотъ знаки сего телеграфа, а *смѣлымъ владѣетъ Богъ*, его девизъ.

Журналы наши не такъ однакожъ дурны, какъ утверждаютъ нѣкоторые умники, и врядъ ли уступаютъ иностраннымъ. Назовите мнѣ хоть одинъ сносный литературный журналъ во Франціи, кромѣ Revue Encyclopedique Нѣмцы ужъ давно живутъ только переводами изъ журнала г. Ольдекопа, у котораго, не къ славѣ здѣшнихъ Нѣмцевъ, едва есть тридцать под-

нищиковъ, и одни только Англичане поддерживаютъ во всей цѣлости славу ума человѣческаго.

Англичанинъ. Знаю, что и тѣ возстанутъ на меня, за то и то-то, что на меня посыплется градъ вопросительныхъ крючковъ и восклицательныхъ шпилекъ. Знаю, что я набралъ плохую методу, споривъ съ своими читателями въ предисловіи книги, которая у нихъ въ рукахъ. Но какъ бы то ни было, я сказалъ что думалъ — и Полярная Звѣзда передъ вами.

ВЗГЛЯДЪ НА СТАРУЮ И НОВУЮ СЛОВЕСНОСТЬ ВЪ РОССІИ.

Геній краснорѣчія и поэзіи, гражданинъ всѣхъ странъ, родственникъ всѣхъ возрастовъ народовъ, не былъ чуждъ и преданій нашихъ. Чувства и страсти свойственны каждому; но страсть къ славѣ въ народѣ воинственномъ необходимо требуетъ одушевляющихъ пѣсней, и Славяне, на берегахъ Дуная, Днѣпра и Волхова, оглашали дебри гимнами побѣдными. До XII вѣка, однако же, мы не находимъ письменныхъ памятниковъ Русской поэзіи: все прочее сокрывается въ туманѣ преданій и гаданій. Бытописанія нашего языка еще невнятнѣе народныхъ: вѣроятно, что Варяго-Россы (Нормапны), пришлецы Скандинавскіе, сли-

ли воедино съ родомъ Славянскимъ языкъ и племена свои, и отъ сего-то смѣшенія произошелъ языкъ собственно Русскій; но когда и какимъ образомъ отдѣлился онъ отъ своего родоначальника, никто опредѣлить не можетъ. Съ Библіею (въ X вѣкѣ), написанною на Болгаро-Сербскомъ нарѣчіи, славянизмъ наслѣдовалъ отъ Грековъ красоты, прихоти, обороты, словосложность и словосочиненіе Эллинскія. Переводчики Священныхъ книгъ и послѣдующіе лѣтописцы, люди духовнаго званія, желая возвыситься слогомъ, писали или думали писать языкомъ церковнымъ — и отъ того испестрили Славянскій отечественными и мѣстными выраженіями и формами, вовсе ему несвойственными. Между тѣмъ языкъ Русскій обживался въ обществѣ, и постепенно терялъ свою первобытную дикость, хотя рѣдко былъ письменнымъ и никогда книжнымъ. Владычество Татаръ впечатлѣло въ немъ едва замѣтные слѣды, но духовные писатели XVI и XVII столѣтій, воспитанные въ предѣлахъ Польши, не мало исказили Русское слово испорченными Славено-Польскими выраженіями. Отъ временъ Петра Великаго, съ учеными терминами, вкралась къ намъ страсть къ германизму и латинизму. Вѣкъ галлицизмовъ насталъ въ царствованіе Елисаветы, и теперь

только начинаетъ языкъ нашъ отрясать съ себя пыль древности, и гремушки чуждыхъ ему нарѣчій. — Нынѣшнее состояніе онаго увидимъ мы въ послѣдствіи; теперь мысленно пробѣжимъ политическія препоны, замедлявшія ходъ просвѣщенія и успѣхи словесности въ Россіи.

Новообращенные Россіяне, истребляя все носившее на себѣ отпечатокъ язычества, нанесли первый ударъ древней словесности. Скоро минулъ для поэзіи красный вѣкъ Владиміровъ, и на его могилѣ возникли междоусобія: Русь не могла отдохнуть подъ кроткою властію Ярославовъ и Мономаховъ, ибо Удѣльные Князья непрестанно ковали крамолы другъ на друга, накликали Половцевъ, Угровъ, Черныхъ Клобуковъ, и воевали съ ними противъ братій своихъ. — Разоренное отечество вѣковало на браняхъ противу домашнихъ враговъ, или на стражѣ отъ набѣговъ сосѣднихъ; наконецъ гроза разразилась надъ нимъ и гордый Моголъ, на пепелищѣ Русской свободы, разбилъ странственную свою палатку.

Все, что можетъ и стребить огонь, мечъ и невѣжество, гибло. Какъ враны, воцарилось племя Батыево надъ пустынями и кладбищами. Варварство заградило страхомъ свѣтъ съ запада и востока. Въ монастыряхъ только и

въ вольномъ Новѣгородѣ тлѣлись искры просвѣщенія: за то лишь нищета и невѣжество ручались за безопасность прочихъ. Мало по малу оправлялась Россія отъ бѣдъ, опершись на мечъ Невскаго и Донскаго; оживала въ княженіи Калиты и Василія (Димитріевича); но иноземное просвѣщеніе упало вмѣстѣ съ Новгородомъ и его торговлею. Іоаннъ Грозный призвалъ на Русь науки и искуства: мудрый и несчастный Годуновъ ревностно имъ покровительствовалъ; но ужасы междуцарствія, злодѣянія Самозванцевъ, вѣроломство Польши, и расхищенія отъ Шведовъ задушили сѣмена, посѣянныя его рукою. — Алексѣй образовалъ искуство ратное, и политическими сношеніями нѣсколько приготовилъ Россіянъ къ важной перемѣнѣ; но, до благотворнаго царствованія Петра, науки были только дѣломъ, а не спасеніемъ.

И такъ подивимся ли, что хладный климатъ Россіи произвелъ немногіе цвѣты словесности! — Пожары, войны и время истребили остальное. Небреженіе Русскихъ о всемъ отечественномъ не мало тому способствовало.

Въ лѣтописяхъ, до насъ дошедшихъ, первое мѣсто занимаетъ Несторова. Онѣ писаны хронически, слогомъ простымъ, не кудравымъ, но болѣе или менѣе ознаменованнымъ слави-

низмомъ. Въ лѣтописяхъ Псковской и Новогородской встрѣчаются мѣста трогательныя, исполненныя разсужденій справедливыхъ, а не одни случаи. Въ Несторовой видны искренность и здравомысліе. — Руская Правда — слѣпокъ съ судебныхъ законовъ Скандинавскихъ — и еще немногія граматы и завѣщанія княжескія писаны языкомъ грубымъ, но краткимъ и сильнымъ. — Народныя пѣсни измѣнены преданіемъ, и едва ли древнѣе трехъ-сотъ лѣтъ. Рускій поетъ за трудомъ и на досугѣ, въ печали и въ радости, и многія пѣсни его отличаются свѣжестію чувствъ, сердечною теплотою, нѣжностью оборотовъ; но бѣды отечества и туманное его небо проливаютъ на нихъ какое-то уныніе, и вообще въ нихъ рѣдко встрѣчаются пылкія страсти и обиліе мыслей. — Возвышенныя пѣснопѣнія старины Русской исчезли, какъ звукъ разбитой лиры; одно имя соловья Баяна отгрянуло въ потомствѣ, но его творенія канули въ бездну вѣковъ, и отъ всей поэзіи древней сохранилась для насъ только одна поэма о походѣ Игоря, князя Сѣверскаго, на Половцевъ. Тамъ находимъ мы незаимствованныя красоты, иную природу, отмѣнный кругъ дѣйствія. Безъименный пѣвецъ вдохнулъ Русскую боевую душу въ языкъ юный, но и самою странностію привлекательный; онъ

украсилъ его цвѣтами мечты, вымысломъ народной миѳологіи, разительными сравненіями и чувствами глубокими. Непреклонный, славолюбивый духъ народа дышитъ въ каждой строкѣ. Драгоцѣнная поэма сія, принадлежащая къ XII вѣку, писана мѣрною прозою и языкомъ, вѣроятно, южно-Русскимъ. Кажется, время сохранило ее, чтобы сильнѣе дать чувствовать потерю остальнаго! — Въ пѣсни о битвѣ Донской (XV вѣка) нѣтъ того огня, той силы въ очертаніи лицъ, той самородной прелести, которыя отличаютъ Пѣснь о походѣ Игоря. Впрочемъ разсказъ оной плавенъ и затѣйливъ, и ее должно читать наравнѣ со всѣми древностями нашего слова, дабы въ нихъ найти черты Русскаго народа, и тѣмъ дать настоящую физіономію языку.

Однимъ шагомъ переступаемъ разстояніе пяти столѣтій: новая эпоха въ краснорѣчіи настаетъ отъ *Ѳеофана*, въ стихотвореніи отъ *Кантемира*. Первый (род. 1681, ум. 1736 г.), одаренный умомъ обширнымъ, утонченнымъ, зналъ пружины государства сердцами слушателей и читателей. Краснорѣчіе его убѣдительно: онъ говоритъ чувствамъ и отъ чувства; но языкъ Ѳеофана неправиленъ, изломанъ, исполненъ Польскимъ и Славянскимъ. Остроумный Кантемиръ (р. 1708, ум. 1744 г.),

хотя неуспѣшно ввелъ Французскій, плавный силлабическій размѣръ, хотя писалъ слогомъ неровнымъ, жестким, хотя дружилъ насъ съ Европейскими мыслями на языкѣ народномъ, еще необработанномъ; — но, какъ философъ, какъ вѣрный живописецъ нравовъ и обычаевъ вѣка, будетъ жить славою въ дальнемъ потомствѣ!

Подобно сѣверному сіянію съ береговъ Ледовитаго моря, геній *Ломоносова* (род. 1711, ум. 1765 г.), озарилъ полночь. Онъ пробился сквозь преграды обстоятельствъ, учился и научалъ, собиралъ, отыскивалъ въ прахѣ старины матеріялы для Русскаго слова, созидалъ, творилъ — и цѣлымъ вѣкомъ двинулъ впередъ словесность нашу. — Русскій языкъ обязанъ ему правилами, стихотворство и краснорѣчіе формами — тотъ и другія образцами. Дряхлѣвшій слогъ нашъ окунѣлъ подъ перомъ Ломоносова. Правда, онъ занялъ у своихъ учителей, Нѣмцевъ, какое-то единообразіе въ расположеніи и обиліе въ разсказѣ; но величіе мыслей и роскошь картинъ искупаютъ сіи малыя пятна въ талантѣ поэта, создавшаго языкъ лирическій.

Въ то время, какъ юный Ломоносовъ парилъ лебедемъ, бездарный *Третьяковскій* (р. 1703, ум. 1769 г.), пресмыкался, какъ мура-

вей, разрадывалъ механизмъ, приличный Русскому стопосложенію, и оставилъ въ себѣ примѣръ трудолюбія и безвкусія. Смѣхотворными стихами своими, въ отрицательномъ смыслѣ, онъ преподалъ важный урокъ послѣдующимъ писателямъ. — *Сумароковъ*, современникъ и соперникъ Ломоносова, былъ отцемъ нашего театра. Онъ писалъ во всѣхъ родахъ; но теперь прежніе вѣнки его вянутъ и облетаютъ: неумолимое потомство отказываетъ ему въ славѣ образцоваго писателя. Въ Русскихъ трагедіяхъ подражаніе французскимъ, совершенное отсутствіе мѣстности, безхарактерность лицъ, холодность страстей и сложность плана — суть всегдашніе его пороки. Простота его басенъ, идиллій надута; веселость комедій принужденна, и вообще рѣдкія черты чувствъ и красоты воображенія скрыты въ тяжкомъ, терновомъ слогѣ. (Род. 1718, ум. 1777 г.) — *Поповскій*, первый послѣ Ломоносова, писалъ чистою прозою. Переводъ *Опыта о человѣкѣ* Попа, заслуживаетъ вниманіе. (Род. 1730, ум. 1760 г.)

Медленною стопою двигалась впередъ словесность: — учрежденіе семинарій, Московскаго университета (1755), кадетскихъ корпусовъ (1732, 1762), призваніе иноземныхъ ученыхъ разливали просвѣщеніе; но имъ занятъ

былъ одинъ только умъ; воображеніе еще дремало. Писатели, даже самые посредственные, были рѣдки. Критика и соперничество не очищали языка, не придавали ему блеску и живости. Съ Петра III слогъ дѣловой сталъ очищаться отъ Латинской примѣси. Наконецъ настало золотое время для словесности и ученыхъ. Великая Екатерина II словомъ и дѣломъ ободряла просвѣщеніе, размножила училища, основала академію Россійскую (1783), и тѣмъ же перомъ, коимъ рѣшала судьбы государствъ, писала Русскіе стихи, собственнымъ примѣромъ вливая жаръ соревнованія въ подданныхъ. Заслуги Екатерины для просвѣщенія отечества неисчислимы. Всѣ лучшіе наши писатели возникли или образовались подъ Ея владычествомъ. Лирикъ *Петровъ* исполненъ яркихъ мыслей, пламенныхъ, смѣлыхъ оборотовъ; быстро набросанныхъ картинъ; но у него поэзія мыслей, а не стиховъ. Языкъ его разрывчатъ, шероховатъ и не всегда справедливъ. (Род. 1736, ум. 1799). — *Херасковъ*, стихотворецъ эпическій, по своему времени, писалъ плавными стихами, хотя кудряво и пространно. Многіе отрывки изъ поэмъ *Владиміра* и *Россіяды* картинны, великолѣпны, изобибуютъ мѣстностями; изъ *Искателей счастія* обрисованы съ пріятнымъ разнобразіемъ,

Никто изъ Русскихъ писателей не произвелъ болѣе Хераскова во всѣхъ родахъ. Жаль только, что ему недоставало краткости и оригинальности. (Род. 1733, ум. 1807 г.). — *Богдановичъ*, поэтъ милый и добродушный, первый написалъ у насъ стихотворную сказку, слогомъ легкимъ, сердечнымъ, занимательнымъ. — Разсказъ въ его Душенькѣ прелестенъ, и доселѣ предметъ столь нѣжнаго; изображенія живы, природны. Онъ разнообразенъ, подобно Протею; но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его стихосложенье падаетъ въ прозаизмъ. (Род. 1743, ум. 1802 г.) — Басни *Хемницера* не писаны, а разсказаны съ непритворнымъ добродушіемъ, и сія-то геніальная небрежность составляетъ прелесть, которой нельзя подражать и которой не должно въ немъ исправлять (Р. 1744, у. 1784 г.) — *Фонъ Визинъ*, въ комедіяхъ своихъ: *Бригадиръ* и *Недоросль*, въ высочайшей степени умѣлъ схватить черты народности, и подобно Сервантесу, привесть въ игру мелкія страсти деревенскаго дворянства. Его критическія творенія будутъ драгоцѣнными для потомства, какъ *снѣжокъ* (fac simile) нравовъ того времени. (Р. 1745, у. 1792 г.) — *В. Капнистъ* извѣстенъ колкою сатирою, комедіею: *Ябеда*; оды его дышатъ благородствомъ мыслей. Легкія стихотворенія достойны древ-

ней антологіи. — Проза *Кострова* въ переводѣ Оссіана и донынѣ можетъ служить образцемъ благозвучія, возвышенности. Его стихи оригинальны. Переводъ осьми пѣсней Иліады не всегда равно выдержанъ, но силенъ, важенъ и цвѣтистъ. (Р . . . ., ум. 1796 г.) — Трагикъ *Княжнинъ* извѣстенъ на драматическомъ поприщѣ *Дидоною* и *Вадимомъ*; изъ комедій его имѣютъ большое достоинство *Хвастунъ* и *Чудаки*, изъ водевилей *Сбитенщикъ*; прочія же театральныя произведенія суть рабскіе слѣпки съ Французскихъ пьесъ. — Въ Княжнинѣ видно чувство. Языкъ его не совсѣмъ вѣренъ, но легокъ. (Р. 1742, ум. 1791 г.) — Наконецъ, къ славѣ народа и вѣка, явился *Державинъ*, поэтъ вдохновенный, неподражаемый, и отважно рванулся на высоты, ни прежде, ни послѣ него недосягаемыя. Лирикъ-философъ, онъ нашелъ искуство съ улыбкою говорить царямъ истину, открылъ тайну возвышать души, плѣнять сердца и увлекать ихъ то порывами чувствъ, то смѣлостью выраженій, то великолѣпіемъ описаній. Его слогъ неуловимъ — какъ молнія, роскошенъ — какъ природа. Но часто восторгъ его упреждалъ въ полетѣ привязь языка, и съ красотами вырывались ошибки. На закатѣ жизни, Державинъ написалъ нѣсколько вещей слабыхъ, но и въ тѣхъ

мелькаютъ искры генія, и современники и потомки съ изумленіемъ взираютъ на огромный талантъ Русскаго Пиндара, пѣвца водопада, Фелицы и Бога. Такъ драгоцѣнный алмазъ долго еще горитъ во тьмѣ, будучи напоенъ лучемъ солнечныхъ; такъ курится подъ снѣжною корой трех-климатный Везувій послѣ изверженія, и путникъ въ густомъ дымѣ его видитъ предтечу новой бури! (Р. 1743, ум. 1816 г.) Рядомъ съ нимъ, въ родѣ легкой поэзіи, возникъ *Дмитріевъ*, и обратилъ на себя вниманіе всѣхъ. Игривымъ слогомъ, остротою отдѣлки онъ снискалъ себѣ имя образцоваго поэта и заохотилъ Русскихъ къ отечественному стихотворству. Милая, разборчивая муза его, изъясняясь языкомъ лучшихъ общества, нашла друзей даже въ кругу свѣтскихъ женщинъ и своимъ вліяніемъ на всѣ сословія принесла важную пользу словесности. — Летучій разсказъ его повѣстей плѣнителенъ, утонченность насмѣшки въ сатирахъ примѣрна; равно какъ поэтъ и баснописецъ, Дмитріевъ украсился вѣнкомъ Лафонтена, и первый у насъ создалъ легкій разговоръ басенный. Оригинальный переводчикъ съ Французскаго, онъ передалъ нашему плавкому языку всю замысловатость, всю игру, всѣ виды перваго. (Р. 1760). — Между тѣмъ, какъ Державинъ изумлялъ

своими одами, какъ Дмитріевъ привлекалъ живымъ чувствомъ въ пѣсняхъ, картинностію въ оригинальныхъ произведеніяхъ — блеснулъ Карамзинъ на горизонтѣ прозы, подобно радугѣ послѣ потопа. Онъ преобразовалъ книжный языкъ Русскій, звучный, богатый, сильный въ сущности, но уже отсталый въ рукахъ безталантныхъ писателей и невѣжд-переводчиковъ. Онъ далъ счастливую новизною ржавымъ колесамъ его механизма, отбросилъ чуждую нестрогу въ словахъ, въ словосочиненіи и далъ ему народное лице. Время разсудитъ Карамзина, какъ историка: но долгъ правды и благодарности современниковъ вѣнчаетъ сего краснорѣчиваго писателя, который своимъ прелестнымъ, цвѣтущимъ слогомъ сдѣлалъ рѣшительный переворотъ въ Русскомъ языкѣ, на лучшее. Легкія стихотворенія Карамзина ознаменованы чувствомъ: они извлекаютъ невольный вздохъ изъ сердца дѣственнаго, и слезу изъ тѣхъ, которые все испытали. (Род. 1765). — Въ шутошномъ родѣ (burlesque) извѣстны у насъ *Майковъ* и *Осиповъ*. Первый (р. 1725, у. 1778 г.) оскорбилъ образованный вкусъ своею поэмою *Елисей*. Второй, въ Энеидѣ на изнанку, довольно забавенъ и оригиналенъ. Ее же на Малороссійское нарѣчіе, съ большею удачею, переложилъ *Котляревскій*. *Нелединскій-Мелецкій* познакомилъ насъ

своими пѣснями прекрасныхъ нашихъ соотечественницъ съ роднымъ языкомъ, который такъ нѣжно ласкаетъ слухъ и такъ сладостно проникаетъ сердце. (Р. 1751). Ему удачно послѣдовалъ *графъ Салтыковъ*. — *Бобровъ* изобиленъ сильными мыслями и рѣзкими изображеніями. Въ *Херсонидѣ* встрѣчаются оригинальныя красоты, но слогъ его нерѣдко напыщенъ и паденіе стоиъ тяжело. (Ум. 1810). — *Князь Долгорукій* отличенъ свободнымъ разсказомъ и непринужденною веселостію. Не смотря на частыя стихотворныя вольности, его *Лѣсъ*, *Каминъ*, *къ Сосѣду* и *Завѣщаніе* всегда будутъ читаемы за Русское ихъ выраженіе. (Род. 1764). — *Графъ Хвостовъ*, трудолюбивый стихотворецъ нашъ, писалъ въ различныхъ родахъ, и въ немъ нерѣдко встрѣчаются новыя мысли. Одами своими заслужилъ онъ недуиемысленную славу, и публика уже оцѣнила всѣ пѣтическія его произведенія. (Род. 1757). *Муравьевъ* (р. 1757, у. 1807) писалъ мужественною, чистою, *Подшиваловъ* (р. 1765, у. 1813 г.) безъискусственною прозою. Слогъ обоихъ имѣетъ тѣмъ большее достоинство, что они, писавъ въ одно время съ Карамзинымъ, соучаствовали въ преобразованіи слога. — *Макаровъ* острыми критиками своими оказалъ значительную услугу словесности. (Р. 1765, у. 1804 г.)

— *Веневитинов* первый показалъ опытъ надъ гибкостію Русскаго языка для всѣхъ стихотворныхъ размѣровъ. Унылая поэзія его дышитъ философіею и глубокимъ чувствомъ, (Р. 1781). — *Маринъ* славенъ острыми сатирами и забавными пародіями. (Ум. 1813). *Князь Горчаковъ* превзошелъ его колкостію, правдою и народностью своихъ сатиръ; къ сожалѣнію, ихъ не много. (Род. 1762). — *Пнинъ* съ дарованіемъ соединялъ высокія чувства поэта. Слогъ его особенно чистъ. (Р. 1773, у. 1805). *М. Кайсаровъ* сдѣлалъ себѣ имя переводомъ Стерна. — *Мартыновъ* (р. 1771) переводилъ Дюпати, Руссо и нѣкоторыхъ Греческихъ классиковъ — трудъ немаловажный съ нашимъ упрямымъ языкомъ, для прозы общежительной. — *Князь Шаликовъ* писалъ пѣшною прозою. Онъ обиленъ мелкими стихотворными сочиненіями. Его муза игрива, но нарумянена — *Панкратій Сумароковъ* отличенъ развязною шутливостью въ стихахъ своихъ, не всегда гладкихъ, но всегда замысловатыхъ. *Слѣпой Эротъ* доказываетъ, что сибирскіе морозы не охладили забавнаго его воображенія. — Баснописецъ *Александръ Измайловъ* рисуетъ природу, какъ Теньеръ. Разсказъ его плавенъ, естественъ; подробности онаго заставляютъ смѣяться самому дѣйствію. Онъ избралъ для предмета сказокъ

низшій классъ общества, и со временемъ будетъ имѣть въ своемъ родѣ большую цѣну, какъ вѣрный историкъ сего класса народа. (Р. 1779) — *Бѣлицкій* написалъ только три сказки, за то образцовою прозою. Изъ нихъ: *На другой день* или *Завтра*—будетъ на всѣхъ языкахъ оригинальною, ибо блещетъ мыслями. Смерть рано похитила его у Русской словесности! (Р. 1780, у. 1809). — *Шишковъ* — писатель прозаическій. Начатки его ознаменованы легкостью слога. Бездѣлки, написанныя имъ для дѣтей, могутъ служить образцами въ семъ родѣ. Въ послѣдствіи, когда слѣпленныя полу-Русскія іереміады наводнили нашу словесность, онъ сильно и справедливо возсталъ противу сей новизны въ полемической книгѣ *о старомъ и новомъ слогѣ*. Теперь онъ тщательно занимается родословною Русскихъ нарѣчій и рѣченій, и доводами о превосходствѣ языка Славянскаго надъ нынѣшнимъ Русскимъ. (Р. 1754). — Стихи *Шатрова* полны рѣзкихъ мыслей и чувствъ, но слогъ псалмовъ его устарѣлъ. — *Князь Шихматовъ* имѣетъ созерцательный духъ и плавность въ элегическихъ стихотвореніяхъ. Впрочемъ его поэзія сумрачна. — *Судовщиковъ* съ большою легкостью и правдою обрисовалъ свою комедію въ стихахъ: *Неслыханное диво* или *Чест-*

мой Секретарь — *Ефимьевъ* довольно удачно изобразилъ въ стихотворной же комедіи пресмушника отъ игры (Ум. 1804). — *Аблесимовъ* извѣстенъ своимъ стариннымъ національнымъ водевилемъ: *Мельникъ*. (Ум. 1784). — *Крюковской* написалъ трагедію *Пожарской*, въ которой болѣе патріотизма, нежели истины. Въ ней однако же есть возвышенныя мѣста въ отношеніи къ чувствамъ и характерамъ. (Р. 1781, у. 1811). — Наконецъ, на поприщѣ трагическомъ, *Озеровъ* далеко оставилъ за собою своихъ предшественниковъ. Имъ обладали чувства глубокія и воображеніе пламенное — творцы великихъ людей или могущихъ поэтовъ. Изъ пяти трагедій, имъ написанныхъ, Эдипъ беретъ безусловное первенство надъ прочими, истиною, выразительностію характеровъ и благородствомъ разговора. Фингалъ одушевленъ Оссіановскою поэзіею; Донской изобилуетъ счастливыми стихами, игрою страстей, народностію и картинами; но характеръ героя пьесы униженъ. Прозаизмы рѣдки въ Озеровѣ, и Александрійскіе его стихи звучны и важны. (Род. 1770, ум. 1816 г.)

Теперь приступаю къ характеристикѣ особъ прославившихся или появившихся въ теченіе

послѣдняго пятнадцати-лѣтія. Въ цей найдутъ мои читатели и поэтовъ, составляющихъ созвѣздіе сѣверной лиры, и писателей, кои, сверкнувъ, исчезали подобно кометамъ, даже и тѣхъ, которыхъ имена мелькаютъ воздушными огнями въ эфемерныхъ журналахъ. Тѣсныя рамы сего обзора не позволяютъ мнѣ упоминать о писателяхъ, занимающихся предметами ученными, и потому не прямо дѣйствующихъ на словесность.

И. А. Крыловъ возвелъ Русскую басню въ оригинально-классическое достоинство. Невозможно дать большаго простодушія разсказу, большей народности языку, большей основаемости нравоученію. Въ каждомъ его стихѣ видѣнъ Русскій здравый умъ. Онъ похожъ природою описаній на Лафонтета, но имѣетъ свой особый характеръ: его каждая басня — сатира, тѣмъ сильнѣйшая, что она коротка и разсказана съ видомъ простодушія. Читая стихи его, не замѣчаешь даже, что они стопованы — и это-то есть верхъ искуства. Жаль, что Крыловъ подарилъ театръ только тремя комедіями. По своему знанію языка и нравовъ Русскихъ, по неистощимой своей веселости и остроумію, онъ могъ бы дать ей черты народныя. (Р. 1768). — Съ *Жуковскаго* и *Батюшкова* начинается новая школа нашей поэзіи. Оба они постигли

тайну величественнаго, гармоническаго языка Русскаго; оба покинули старинное право ломать смыслъ, рубить слова для мѣры, и писать полубогатыя рѣчи. Кто не увлекался мечтательною поэзіею Жуковскаго, чарующаго столь сладостными звуками? Есть время въ жизни, въ которое избытокъ непонятныхъ чувствъ волнуетъ грудь нашу; душа жаждетъ излиться, и не находитъ вещественныхъ знаковъ для выраженія: въ стихахъ Жуковскаго, будто сквозь сонъ, мы какъ знакомецъ встрѣчаемъ олицетворенныя свои призраки, воскресшія былое. — Намагниченное желѣзо клонится къ безвѣстному полюсу, — его воображеніе къ таинственному идеалу чего-то прекраснаго, но несознаваемаго, и сія отвлеченность проливаетъ на всѣ его произведенія особенную привлекательность. Душа читателя потрясается чувствомъ унылымъ, но невыразимо пріятнымъ. Такъ долетаютъ до сердца нѣжные звуки Эоловой арфы, колеблемой вздохами вѣтра. — Многіе переводы Жуковскаго лучше своихъ подлинниковъ, ибо въ нихъ благозвучіе и гибкость языка украшаютъ вѣрность выраженія. Никто лучше его не могъ облечь въ одежду свѣтлаго, чистаго языка разноплеменныхъ писателей; онъ передаетъ всѣ черты ихъ со всею свѣжестію красокъ портрета, не

только съ безцвѣтной точностью силуэтною. Онъ изобиленъ, разнообразенъ, неподражаемъ въ описаніяхъ. У него природа видна не въ картинѣ, а въ зеркалѣ. Можно замѣтить только, что онъ далъ многимъ изъ своихъ твореній Германскій колоритъ, сходящій иногда въ мистику и, вообще, наклонность къ чудесному; но что значатъ сіи бездѣльные недостатки во вдохновенномъ пѣвцѣ 1812 года, который дышитъ огнемъ боевъ, въ пѣвцѣ Луны, Людмилы и прелестной, какъ радость, Свѣтланы? Переводная проза Жуковскаго примѣрна. Оригинальная повѣсть его *Марьина роща* стоитъ на ряду съ Маревою посадницею Карамзина (Род. 1783 г.). — Поэзія *Батюшкова* подобна рѣзвому водомету, который то ниспадаетъ мѣрно, то плещется съ вѣтеркомъ. Какъ въ брызгахъ онаго переломляются лучи солнца, такъ сверкаютъ въ ней мысли новыя, разнообразныя. Соперникъ Анакреона и Парни, онъ славитъ наслажденія жизни. Томная нѣга и страстное упоеніе любви попеременно одушевляютъ его, и, какъ электричество, сообщаются душѣ читателя. Неодолимое волшебство гармоніи, игривость слога и выборъ счастливыхъ выраженій довершаютъ его побѣду. Сами граціи натирали краски, эстетическій вкусъ водилъ кистью его; однимъ словомъ, Батюш-

ковъ остался бы образцовымъ поэтомъ безъ укора, если бъ даже написалъ одного *Умирающаго Тасса*. (Р. 1787). — *Александръ Пушкинъ* вмѣстѣ съ двумя предъидущими составляетъ нашъ поэтическій тріумвиратъ. Еще въ младенчествѣ онъ назвалъ мужественъ своего слога, и въ первой юности далъ ему кладъ Русскаго языка, открылись чары поэзіи. Новый Прометей, онъ похитилъ небесный огонь и, обладая онымъ, своеправно играетъ сердцами. Каждая пьеса его ознаменована оригинальностію; послѣ чтенія каждой, остается что-нибудь въ памяти или въ чувствѣ. Мысли Пушкина остры, смѣлы, огнисты; языкъ свѣтелъ и правиленъ. Не говорю уже о благозвучіи стиховъ — это музыка; не упоминаю о плавности ихъ — по Русскому выраженію, они катятся по бархату межчугомъ! Двѣ поэмы сего юнаго поэта: *Русланъ и Людмила* и *Кавказскій плѣнникъ* исполнены чудесныхъ, дѣвственныхъ красотъ; особенно послѣдняя, писанная въ виду сѣдовласаго Кавказа и на могилѣ Овидіевой, блистаетъ роскошью воображенія и всею живостію мѣстныхъ красотъ природы. Неровность нѣкоторыхъ характеровъ и погрѣшности въ планѣ суть его недостатки — общіе всѣмъ пылкимъ поэтамъ, увлекаемымъ порывами воображенія (Р. 1799). — Остроум-

ный *князь Вяземскій* щедро сыплетъ сравненія и насмѣшки. Почти каждый стихъ его можетъ служить пословицею, ибо каждый заключаетъ въ себѣ мысль. Онъ творитъ новыя, облагораживаетъ народныя слова, и любитъ блистать неожиданностью выраженій. Имѣя взглядъ бѣглый и соображательный, онъ вѣрно цѣнитъ произведенія разума, научаетъ шутками, и одѣваетъ свои сужденія приманчивою свѣтекостію и блестками ума просвѣщеннаго. Многія изъ мелкихъ его сочиненій сверкаютъ чувствомъ; всѣ скрѣплены печатью таланта, не смотря на неровное, иногда, паденіе звуковъ, и длину періодовъ въ прозѣ. Его упрекаютъ въ разсчетительности остроты, не оставляющихъ даже тѣней въ картинѣ, но это происходитъ не отъ желанія блистать умомъ, но отъ избытка онаго. (Р. 1792). — Въ *Гнѣдичѣ* видѣнъ духъ творческій и душа воспламеняемая, доступная всему высокому. Напитанный древними классиками, онъ сообщилъ слогу своему ненаполненную важность. Поэма его *Рожденіе Гомера* цвѣтетъ красотами неба Эллады. Въ его элегіяхъ отзывается чувство необыкновенно глубокое, и сильный языкъ въ оныхъ отрабатывалъ съ бо́льшею тщательностію. Ему обязаны мы счастливымъ появленіемъ народной эпопеи. Онъ усыновляетъ Греческій эпо-

метръ Русскому, вселичному языку, и Гомеръ является у насъ въ собственной одеждѣ, а не въ путахъ тѣснаго, утомительнаго Александрійскаго размѣра. (Р. 1784).

— Въ сочиненіяхъ *Ѳ. Глинки* отсвѣчивается ясная его душа. Стихи сего поэта благоухаютъ нравственностію, что-то невещественно-прекрасное чудится сквозь полупрозрачный покровъ его поэзіи, и, сливаясь съ собственною нашею мечтою, невольно къ себѣ привлекаетъ. Онъ владѣетъ языкомъ чувствъ, какъ Вяземской языкомъ мыслей. Проза его проста, благозвучна и округлена, хотя нѣсколько плодовита. *Письма Русскаго офицера* написаны перомъ патріота-воина. Стихотворенія Глинки видимо усовершаются въ отношеніи къ механизму и обдуманности. Въ заключеніе скажемъ, что онъ принадлежитъ къ числу писателей, которыхъ біографія служила бы лучшимъ предисловіемъ и коментаріемъ для ихъ твореній. (Р. 1787).

Амазонская муза *Давыдова* говоритъ откровеннымъ нарѣчіемъ воиновъ, любитъ бесѣды вокругъ пламени бивуака, и съ улыбкою рыщетъ по полю смерти. Слогъ партизана-поэта быстръ, картиненъ, внезапенъ. Пламень любви рыцарской и прямодушная веселость попере-

мѣнно оживляютъ оный. Иногда онъ бываетъ нерадивъ въ отдѣлкѣ; но время ли наѣзднику заниматься уборомъ? — Въ нѣжномъ родѣ — *Договоръ съ невѣстою* и нѣсколько элегій; въ гусарскомъ — залетныя посланія и зачашныя пѣсни его останутся навсегда образцами. (Р. 1784).

Баратынскій, по гармоніи стиховъ и мѣткому употребленію языка, можетъ стать наряду съ Пушкинымъ. Онъ нравится новостью оборотовъ; его мысли не величественны, но очень милы. *Пиры* Баратынскаго игривы и забавны. Во многихъ бездѣлкахъ видѣнъ развивающійся даръ; нѣкоторыя изъ нихъ похищены, кажется, изъ альбома грацій.

— *Милоновъ*, поэтъ сильный въ сатирахъ и чувствительный въ элегіяхъ. Въ его стихахъ слышите голосъ тоски неизлечимой. Слогъ Милонова неуклончивъ, сжатъ и рѣшителенъ, но стихосложеніе иногда отрывисто. (Р. 1792, ум. 1821).

Воейковъ прелестенъ въ своихъ сатирическихъ посланіяхъ, нерѣдко живописенъ въ *Садахъ* Делиля, силенъ въ нѣкоторыхъ эпизодахъ поэмы: *Искусства и науки*. Впрочемъ, онъ поэтъ, вдохновенный умомъ, а не воображеніемъ. Языкъ его не довольно высокъ для

предмета, и теченіе стиховъ принесенъ бываетъ затрудненно длинными реченіями (Р. 1783).

Притча *Остолопова* оригинальны рѣзкостію и правдою нравоученій; сатиры его ѣдки и портретны. Онъ оказалъ большую услугу словесности изданіемъ словаря поэзіи. (Р. 1782). — *Родзянка*, безпечный пѣвецъ красоты и забавы; онъ пишетъ не много, но легко и пріятно.

Мерзляковъ подарилъ публику занимательными разборами и характеристикою нашихъ лучшихъ писателей. Въ оныхъ, безъ сухости, безъ педантства, показавъ твердое знаніе языка, умѣлъ онъ оттѣнить каждаго съ вѣрностью и разновидностію. Пѣсни Мерзлякова дышатъ чувствомъ; переводы *Науки* о *Стихотворствѣ*, Виргиліевыхъ эклогъ и еще нѣкоторые — примѣрны. Но должно признаться, что его стихосложеніе небрежно, и утонченный вкусъ не всегда водилъ перомъ автора. (Р. 1778).

В. Пушкинъ отличенъ пѣжнымъ, тонкимъ вкусомъ, разсказомъ природнымъ и плавностію, которыя украшаютъ мелкія его произведенія. (Р. 1770). — *Плетневъ* удачно шелъ по слѣдамъ Мерзлякова въ характеристикѣ поэтовъ. Въ мечтательной поэзіи онъ подражатель Жуковскаго. Знаніе роднаго языка и особенная

гладкость стиховъ составляютъ отличительныя его достоинства; неопредѣленность цѣли и блѣдность колорита — недостатки. Его стихотворенія можно уподобить гармоникѣ. Въ частности у Плетнева встрѣчаются пьесы — игрушки стихотворства, украшенныя всѣми цвѣтами фантазіи. Въ романтическомъ родѣ лучшее его произведеніе элегія *Минихъ*. — *Дельвигъ* одаренъ талантомъ вымысла; но пристрастясь къ Германскому эмпиризму и древнимъ формамъ, нерѣдко вдается въ отвлеченность. Въ бездѣлкахъ его видна ненарумяненая природа. Идилліи *Панаева* довольно естественны, очень миловидны; но онѣ прививной плодъ въ Россіи. Разсказъ его нѣженъ, плавенъ, но языкъ не всегда правиленъ. (Род. 1792). — *Александръ Крыловъ* имѣетъ рѣдкое достоинство переливать иноземныя красоты въ Русскія, не измѣняя мыслямъ подлинника. Муза его подражательная, но стихи очаровываютъ своею звучностію. — Полуразвернувшіяся розы стихотвореній *Михайлы Дмитріева* обѣщаютъ въ немъ образованнаго поэта, съ душею огненною. — Переводы *Ряша* Виргиліевыхъ Георгикъ достойны вѣнка хвалы за близость къ оригиналу и за вѣрный, звонкій языкъ. — *Олинъ* удачно перевелъ нѣкоторыя Горацiанскія оды. Въ его элегіяхъ есть истина и новыя

мысли. — *Филимоновъ* вложилъ много ума и чувствительности въ свои произведенія: онъ успѣшно переводилъ Горація. *Межаковъ* въ бездѣлкахъ своихъ разбросалъ цвѣтки свѣтской философіи съ стихотворною легкостію. — *Козловъ*, поэтъ-слѣпецъ, пишетъ мило и трогательно. — *Иванчинъ-Писаревъ* обиленъ картинами и словами. — Сверхъ означенныхъ здѣсь, можно съ похвалою упомянуть объ *Александрѣ Писаревѣ*, *Маздорфѣ*, *Норовѣ* и *Нечаевѣ*. — Въ стихотвореніяхъ *Анны Буниной* и *Анны Волковой*—двухъ женщинъ- поэтовъ — разсѣяно много чувствительности и меланхоліи, но механизмъ оныхъ недовольно легокъ. Однако же *Паденіе Фаэтона*, первой изъ нихъ, разнообразно красотами вымысла. Еще нѣкоторыя изъ соотечественницъ нашихъ бросали иногда блестки поэзіи въ разныхъ журналахъ, и хотя полъ авторовъ можно было угадать безъ подписи ихъ именъ, но мы должны быть признательны за подобное снисхожденіе, мы должны радоваться, что наши красавицы занимаются языкомъ Русскимъ, который въ ихъ устахъ получаетъ новую жизнь, новую прелесть. Онѣ однѣ умѣютъ избрать средину между школьнымъ и слишкомъ обыкновеннымъ тономъ, смягчить и одушевить каждое выраженіе. Тогда появится у насъ слогъ разговорный,

слогъ благородной комедіи, чего до сихъ поръ не было на сценѣ, ибо онъ не слышенъ въ гостиныхъ. — Для трагедіи ни одинъ изъ живыхъ Европейскихъ языковъ не можетъ быть склоннѣе Русскаго: отсутствіе членовъ и умолчаніе глаголовъ вспомогательныхъ творятъ его плавнымъ, разнообразнымъ и вмѣстѣ сжатымъ. Высокость рѣченій Славянскихъ, важность и богатство звуковъ придаютъ ему все мужество, необходимое для выраженія страстей лѣжныхъ или суровыхъ. Со всѣмъ тѣмъ у насъ не существуетъ народной трагедіи, и, кромѣ *Озерова*, не было трагиковъ; но и тотъ, покоряясь временности, заковалъ своего генія въ академическія формы и въ рифмованные стихи. — *Князь Шаховской* заслуживаетъ благодарность публики, ибо одинъ неддерживаетъ клонящуюся къ разрушенію сцену, то переводными, то передѣльными драмами и водевилями. Онъ сочинилъ трагедію *Дебору*, переложилъ *Абуфара*, но настоящее дѣло его есть комедія. Въ ней видны легкость и острота, но мало оригинальнаго. Поспѣшность, съ которою пишетъ онъ для сцены, опереживаетъ отдѣлку стиховъ и правила языка. Изъ фарсовъ лучшіе суть: *Два соперника* и *Полубарскія затѣи*, ибо въ нихъ схвачены черты народныя; изъ комедій благородныхъ *Своя семья* и *Каверзу*. Разговор-

ный языкъ его развязенъ, текущъ, но не довольно высокъ для хорошаго общества, и не рѣдко поблеклыя мишура заемныхъ остротъ портитъ слогъ его. *Кокошкинъ* прелестно и вѣрно перевелъ *Мизантропа*; *Грибоѣдовъ* весьма удачно передѣлалъ съ Французскаго комедію *Молодые супруги*, (Le secret de menage); стихи его живы; хорошій ихъ тонъ ручается за вкусъ его, и вообще въ немъ видно большое дарованіе для театра.—*Лобановъ* передалъ Расинову *Ифигенію* съ неотступною вѣрностію и чувствомъ оригинала. Онъ скоро подаритъ публику *Федрою*. Любители театра желаютъ для обогащенія онаго иноземными классическими произведеніями, чтобы у насъ было болѣе подобныхъ ему переводчиковъ. Тщательная его отдѣлка—замѣтимъ мимоходомъ—иногда замедляетъ порывы страстей пылкихъ. *Висковатовъ* написалъ трагедію *Ксенія и Темиръ*, которой ходъ довольно правдоподобенъ, ибо основанъ на вымыслѣ. Страсти выказаны стихами звучными, но онѣ многорѣчивы, и дѣйствіе связно. *Гамлетъ* явился на Русской сценѣ его стараніемъ. — Въ комедіяхъ *Загоскина* разговоръ естественъ, нѣкоторыя лица и многія мысли оригинальны, но планы ихъ не новы. — *Хмельницкому* обязаны мы самыми бѣглыми стихами въ родѣ комическомъ. Какъ не

лья лучше, перевелъ онъ *Говоруна* Буасси; передѣлалъ *Воздушные замки* Колень д'Арлевиля, и передалъ намъ нѣсколько водевилей. Въ немъ мало своего; за то въ подражаніи пѣтъ надутости. *Жандръ*, съ товарищами, перевелъ съ Французскаго нѣсколько трагедій и одну комедію, отъ чего многоручные переводы сіи получили нестроту въ слогѣ; трагическіе стихи его гладки, нерѣдко сильны и часто заряжены старинными выраженіями.— *Катенинъ*, переводчикъ *Сида*, *Эсфири*, Грессетовой комедіи Le méchant и двухъ четвертыхъ дѣйствій въ трагедіяхъ *Горація* и *Медеи*; Сочинитель балладъ, критикъ и антикритикъ, и лирическихъ стиховъ. — *Борисъ Ѳедоровъ* писалъ много для сцены, но мало по вкусу публики. Однакожъ въ отрывкахъ его Юлія Цезаря видѣнъ даръ къ трагедіи.—Имена прочихъ авторовъ и переводчиковъ пьесъ случайныхъ извѣстны только по бенефиснымъ афишамъ, и, вѣроятно, не переживутъ ихъ въ потомствѣ!

Оставивъ за собою безплодное поле Русскаго театра, бросимъ взоръ на степь Русской прозы. Назвавъ Жуковскаго и Батюшкова, которые писали столь же мало, сколь прелестно, невольно останавливаешься, дивясь безплодью сей стороны, — что доказываетъ младенчество просвѣщенія.—Гремушка занимаетъ дѣтей пре-

же циркуля: стихи, какъ есть слуху, сносны даже самые посредственные; но слогъ прозы требуетъ не только знанія грамматики языка, но и грамматики разума, разнообразія въ паденіи, въ округленіи Періодовъ, и не терпитъ повтореній. Отъ сего-то у насъ такое множество стихотворцевъ (не говорю, поэтовъ) и почти вовсе нѣтъ прозаиковъ, и какъ первыхъ можно укорить блѣдностію мыслей, такъ послѣднихъ погрѣшностями противу языка. Къ сему присоединилась еще односторонность, происшедшая отъ употребленія одного Французскаго и переводовъ съ сего языка. Обладая неразработанными сокровищами слова, мы, подобно первобытнымъ Американцамъ, мѣняемъ золото онаго на блестящія заморскія бездѣлки. Обратимся къ прозаикамъ. — Рѣзкимъ перомъ *Каченовскаго* владѣетъ языкъ чистый и важный. Рѣдко кто знаетъ правила онаго основательнѣе сего писателя. Историческія и критическія статьи его дѣльны, умны и замысловаты. Слогъ переводовъ *Вл. Измайлова* цвѣтистъ и правиленъ, подобно переводному слогу Каченовскаго. Оба они утвердили своими игривыми переводами знакомство публики нашей съ иноземными писателями. *Броневскій*, авторъ записокъ морскаго офицера, изобразилъ, будто въ панорамѣ, берега средизем-

наго моря. Онъ привлекаетъ вниманіе разнообразіемъ предметовъ, слогомъ цвѣтущимъ, быстротою разсказа о водныхъ и земныхъ сраженіяхъ, и пылкостью, съ которою передаетъ намъ геройскіе подвиги непріятелей, друзей и сыновъ Россіи. Онъ счастливо избѣгъ недостатка многаго множества путешественниковъ, утомляющихъ подробностями. Онъ занимателенъ всѣмъ и нигдѣ не скученъ: жаль только, что языкъ его не правиленъ. — *Гречъ* соединяетъ въ себѣ остроту и тонкость разума съ отличнымъ знаніемъ языка. На пламени его критической лампы не одинъ литературный трутень опалилъ свои крылья. Русское слово обязано ему новыми грамматическими началами, которыя скрывались досель въ хаосѣ прежнихъ грамматикъ, и онъ первый проложилъ дорогу будущимъ Историкамъ отечественной словесности, издавъ Опытъ Исторіи оной. Гречъ не много писалъ собственно для литературы, но въ письмахъ его путешествія по Франціи и Германіи замѣтны наблюдательный взоръ и ѣдкость сатирическая, но въ разсказѣ пробивается нетерпѣніе. — *Булгаринъ*, литераторъ Польскій, пишетъ на языкѣ нашемъ съ особенною занимательностію. Онъ глядитъ на предметы съ совершенно новой стороны, излагаетъ мысли свои съ какою-

то военною искренностію и правдою, безъ пестроты, безъ игры словъ, обладая вкусомъ разборчивымъ и оригинальнымъ, который не увлекается даже пылкою молодостью чувствъ, поражая незаимствованными формами слога, онъ конечно станетъ въ рядъ свѣтскихъ нашихъ писателей. Его записки объ Испаніи и другія журнальныя статьи будутъ всегда съ удовольствіемъ читаться не только Русскими, но и всѣми Европейцами. — *Головнинъ* описалъ свое пребываніе въ плѣну Японскомъ такъ искренно, такъ естественно, что ему нельзя не вѣрить. Прямой, неровный слогъ его — отличительная черта мореходцевъ — имѣетъ большое достоинство, и въ своемъ кругу занимаетъ первое мѣсто, послѣ слога *Пл. Гамалеи*, который самыя сухія науки оживляетъ своимъ краснорѣчіемъ. — *Свиньинъ*, сочинитель живописнаго путешествія по Америкѣ и многихъ журнальныхъ статей, пишетъ обо всемъ Русскомъ, достойномъ вниманія патріотовъ. Его слогъ небреженъ, но выразителенъ. — Въ письмахъ Скимнина, сочиненія *Ѳ. Львова*, нерѣдко вспыхиваютъ сердечныя чувства съ искрами поэзіи: тамъ много новыхъ рѣченій, но мало новости въ слогѣ. — Въ статьяхъ *Н. Кутузова* видны цѣль и духъ благородной души; но слогъ нѣсколько пышенъ для избранныхъ имъ предметовъ. — Кри-

тики *Сомова* колки и не всегда справедливы. — *И. Яковлевъ* обѣщаетъ многое въ родѣ Жуи: слогъ его оригиналенъ, отрывистъ; приповѣдки остры и забавны, *Кюхельбекеръ* одаренъ летучимъ воображеніемъ и мечтательностію. Въ Европейскихъ письмахъ его встрѣчаются картины удачныя и новыя. — *Парѣжный*, въ славянскихъ Вечерахъ своихъ, разбросалъ дивіе цвѣты сѣверной поэзіи. Впрочемъ, проза его слишкомъ мѣрна и однозвучна. Онъ написалъ два романа, гдѣ много портретовъ и новыхъ мыслей. — *Дм. Княжевичъ* пишетъ живо, умно и правильно — три вещи довольно рѣдкія на Руси: его отечественныя синонимы очень занимательны, — *Мельшинъ* переводъ писемъ о химіи заслуживаетъ вниманія равно въ прозаическомъ, какъ и въ стихотворномъ отношеніяхъ: онъ свѣтелъ, игривъ, вѣренъ оригиналу и правиламъ нашего слова.

Симъ заключаю рядъ прозаиковъ; ибо другіе безъименные или ожидающіе именъ писатели, по малости или по безхарактерности ихъ твореній, не произвели никакого вліянія на словесность.

Въ сей картинѣ, мною начертанной, читатели увидятъ, въ какомъ бѣдномъ отношеніи находится число оригинальныхъ писателей къ

чиру пишущихъ, а число дѣльныхъ произведеній къ количеству оныхъ. Разсмотримъ тому причины.

Во первыхъ: необъятность имперіи, препятствуя сосредоточиванію мнѣній, замедляетъ образованіе вкуса публики. Университеты, гимназіи, лицеи, институты и училища, умноженные благотворнымъ Монархомъ и поддерживаемые щедротами Короны, разливаютъ свѣтъ наукъ, но составляютъ самую малую часть въ отношеніи къ многолюдству Россіи. Недостатокъ хорошихъ учителей, дороговизна выписныхъ и вдвое того отечественныхъ книгъ и малое число журналовъ, сихъ призмъ литературы, не позволяютъ проницать просвѣщенію въ уѣзды, а въ столицахъ содержать дѣтей не каждый въ состояніи. — Феодальная знаменитость многихъ дворянъ усугубляетъ сіи препоны. Одни рубятъ Гордіевъ узелъ наукъ мечемъ презрѣнія, другіе не хотятъ ученьемъ мучить дѣтей своихъ, и для сего оставляютъ неповздѣланными ихъ умы, какъ не рѣдко поля изъ пристрастія къ псовой охотѣ. Въ столицахъ разсѣяніе и страсть къ мелочамъ занимаютъ юношей; никто не посвящаетъ себя безвыгодному и безсребренному ремеслу писателя, и если пишутъ, то пишутъ не по занятію, а шутя; и къ чести военнаго зва-

нія — должно сказать, что молодые офицеры наиболѣе, въ сравненіи съ другими, основательно учатся. Впрочемъ, у насъ нѣтъ Европейскаго класса ученыхъ (lettrés, savans) ибо одно счастіе даетъ законы обществу, а наши богачи не слишкомъ учены, а ученые вовсе не богаты. Въ отношеніи къ писателямъ я замѣчу, что многіе изъ нихъ сотворили себѣ школы, коихъ упрямство препятствуетъ усовершенствованію слова; другіе не дорожатъ общимъ мнѣніемъ, и на похвалахъ своихъ пріятелей засыпаютъ безпробудным сномъ золотой посредственности.

Человѣкъ есть существо болѣе тщеславное, чѣмъ славолюбивое. Поэтъ, романтикъ, ученый работаетъ въ тиши кабинета, чтобы собрать дань похвалы въ людяхъ; но когда онъ видитъ труды свои гибнущими въ книжной лавкѣ, и безмолвіе, встрѣчающее его въ обществѣ, гдѣ даже никто не подозрѣваетъ въ немъ таланта; когда, вмѣсто наградъ, онъ слышитъ однѣ насмѣшки: — промѣняетъ ли онъ мака настоящаго на нетлѣнный лавръ отдаленнаго будущаго?

Наконецъ, главнѣйшая причина есть изгнаніе роднаго языка изъ обществъ и равнодушіе прекраснаго пола ко всему, на своемъ писанному! Чего нельзя совершить, дабы заслу-

жить благосклонный взоръ красавицы? Въ какое прозаическое сердце не вдохнетъ онъ поэзіи? Одна улыбка женщины милой и просвѣщенной награждаетъ всѣ труды и жертвы! У насъ почти не существуетъ сего очарованія, и вамъ, прелестныя мои соотечественницы, жалуются музы на васъ самихъ!

Но, утѣшимся! Вкусъ публики, какъ подземный ключъ, стремится къ вышинѣ. Новое поколѣніе людей начинаетъ чувствовать прелесть языка роднаго и въ себѣ силу образовать его. Время невидимо сѣетъ просвѣщеніе, и туманъ, лежащій теперь на полѣ Русской словесности, хотя мѣшаетъ побѣгу, но даетъ большую твердость колосьямъ, и обѣщаетъ богатую жатву.

о

РОМАНѢ Н. ПОЛЕВАГО:

Клятва при гробѣ Господнемъ.

La critique, dans les époques de transition, tient lieu fort bien de tout ce qui n'est plus ce qui n'est pas encore. La critique alors c'est tout le poème, c'est tout le drame, c'est toute la comédie, c'est tout le théâtre, c'est tout ce qui occupe les esprits; c'est la critique qui passionne et qui amuse; c'est elle qui éclaire et qui brûle, c'est elle qui fait vivre et qui tue....

Jules Janin.

Знать въ добрый часъ благословилъ насъ Ѳ. В. Булгаринъ своими романами. По дорожкѣ, проторенной его *Самозванцемъ*, кинулась дюжины писателей на перегонку, будто соревнуя конскимъ ристаніямъ, появившимся

на Руси въ одно время съ романизмомъ. Москва и Петербургъ пошли стѣна на стѣну. Перекрестный огонь загорѣлся изъ всѣхъ книжныхъ лавокъ, и вотъ, романъ за романомъ полетѣли въ голову добраго Русскаго народа, которому, Богъ вѣдаетъ съ чего, припала смертная охота къ гражданской печати, къ своему родному, доморощеному. И то сказать: Французскій сунъ пріѣлся ему съ 1812 года; Нѣмецкій буттеръ-бротъ подъ туманомъ пришелъ вовсе не по желудку; въ Англійскомъ ростбифѣ, говоритъ онъ, черезъ чуръ много крови да перцу; даже ячменный хлѣбъ Валтера-Скотта набилъ оскомину; однимъ словомъ, переводы со всѣхъ возможныхъ языковъ надоѣли землякамъ пуще ненастнаго лѣта. Стихотворцы, правда, не переставали стрекотать во всѣхъ углахъ, но стиховъ никто не сталъ слушать, когда всѣ стали ихъ писать. Наконецъ, разсѣянный ропотъ слился въ общій крикъ: «Прозы, прозы! — Воды, простой воды!»

На святой Руси по сочинителей не кличъ кликать: стоитъ крякнуть, да денежкой брякнуть, такъ набѣжатъ, наколетъ ихъ полторы тмы съ потемками. Такъ и сталось. Чернильныя тучи взошли отъ поля и отъ моря: закричали гуси, ощипанные безъ милосердія, и

занищали гусиныя перья со всеусердіемъ. Прежніе наши романисты, забытой памяти, Ѳедоръ Эминъ, Нарѣжный, Марья Извѣкова, Александръ Измайловъ, скромненько начинали съ какого нибудь Никанора, Несчастнаго дворянина; съ Евгенія, или Пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія; съ Русскаго Жилблаза, который не чуждался ни чарки, ни палки. Тогда вороны не летали въ хоромы!.... добрыя, простыя времена! Но мы нашли, что простота хуже воровства. Острые локти наши, которые тоже любятъ просторъ, проглянули изъ тѣсныхъ рукавовъ Митрофанушкина кафтана: иной-бы сказалъ, что у насъ выросли крылья, такъ бойко начали мы метаться въ даль и въ воздухъ. Исторія сдѣлалась страстью Европы, и мы сунули носъ въ исторію; а Русскій ни съ мечемъ, ни съ калачемъ тутить не любитъ. Подавай ему героя охвата въ три, ростомъ съ Ивана великаго, и съ такимъ славнымъ именемъ, что на тощакъ и не выговорить. Искромсали Карамзина въ лоскутки; доскреблись и до архивной пыли; обобрали кругомъ изустное преданіе; не завалялась даже за печкой никакая сказка, ни присказка. Мало намъ исторіи, принялись мы и за мораль. «Право-описательныхъ-ли, нравственно-ли-сатирическихъ, сатирико-исто-

рическихъ-ли романовъ? Милости просимъ! кто купитъ?» — О, навѣрно ужь не я! Въ осьмую долю листа, въ восемнадцатую долю смысла, хоть торцовую мостовую мости. И надобно сказать, что всѣ они съ отличныхъ поведеньемъ: порокамъ у нихъ нѣтъ поощренія; колютъ не въ бровь, а прямо въ глазъ, не то что у иностранцевъ: на щипокъ правоученія не возьмешь.... У насъ, батюшка, его не продаютъ будто краденое изъ подъ огонь; у насъ оно облуплено словно луковка: кушай, да локтемъ слезы вытирай. А ужь про складъ и говорить нечего! Въ полдюжины лѣтъ нажили мы не одну дюжину романовъ, поденѣжныхъ, подовыхъ романовъ, романовъ, въ которыхъ есть и Русскій квасъ и Русскій хмѣль; есть прибаутки и пословицы, отъ которыхъ не отказался-бы ни одинъ десятекій; есть и лубочныя картинки нашего быта, раскрашенныя матушкой грязью; есть въ нихъ все, кромѣ Русскаго духа, все кромѣ Русскаго народа! Со всѣмъ тѣмъ, почтеннѣйшая толпа земляковъ моихъ вѣритъ, что она покупаетъ мумію Русской старины во Французской обверткѣ, съ готическими виньетками, съ картинками, рѣзанными въ Вѣнѣ; вѣритъ, что эти романы ея предки или современники; вѣритъ съ тупоумiемъ старика или съ простоумiемъ ребенка,

и цѣлуется съ этими куклами-самодѣлками; покупаетъ не накупится; читаетъ не нахвалится. Книгопродавцы, изъ бель-этажа собственнаго дома, поглядываютъ на бульваръ и напѣваютъ: «Великъ Богъ Израилевъ!» Добрѣйшіе люди! А гг. сочинители, возвратись съ какого нибудь жирнаго *новоселья*, и гордо развязывая гордіевы узлы густо накрахмаленнаго галстуха, и съ улыбкою трепля свою шавку, говорятъ ей: «Гафизъ, другъ мой, знаешь ли ты, что я Русскій Вальтеръ Скоттъ!» Замѣтьте, я сказалъ: *накрахмаленный галстухъ;* это не даромъ, мм. гг! Это предполагаетъ чистый галстухъ; а чистый галстухъ предполагаетъ, что владѣлецъ его посѣщаетъ хорошее общество, а хорошее общество требуетъ прежде блестящихъ сапоговъ, чѣмъ блестящаго дарованія, слѣдственно сочинитель нашъ долженъ ѣздить, по крайней мѣрѣ въ гости, въ экипажѣ. Надѣюсь, вы теперь меня понимаете! На моей еще памяти, иные истинные таланты носили черные галстухи и въ праздникъ; ходили, увы! даже не въ резиновыхъ галошахъ по слякоти, и — что таить грѣха? кланялись въ поясъ пустымъ каретамъ. Слава Богу, слава нашему времени, скажу и я вмѣстѣ съ вами, которое за чернила платитъ Шампанскимъ и обращаетъ въ ассигнаціи листки тетрадей. Я не буду

неблагодаренъ ни къ Правительству, которое ободряетъ и ограждаетъ умственные труды, ни къ публикѣ, начинающей цѣнить нераздѣльно съ сочиненіемъ и сочинителя; но я не буду и льстить нашимъ романописцамъ. Подумавъ безпристрастно, я скажу свое мнѣніе откровенно; покрайней мѣрѣ ручаюсь за послѣднее. Я думаю, что не смотря на многочисленность нашихъ романовъ, не смотря на вопросъ на романы, едва ль не превышающій готовность составлять ихъ, не смотря на ободреніе властей, мы бѣдны, едва ль не нищи оригинальными произведеніями сего рода.

Отъ чего это?

Признаться, на такой вопросъ такъ-же трудно отвѣчать, какъ на тотъ, почему у Кассьяна черные глаза, когда у матери и отца они голубые? или почему огурецъ зеленъ, а смородина красна, хоть они растутъ на одномъ и томъ же солнцѣ? На *нѣтъ* и суда нѣтъ: та бѣда, что и на *есть* не подберемъ мы причины: зачѣмъ оно такъ, а не иначе?

Но пересѣемъ повнимательнѣе то, о чемъ говорилъ я шутя, и, быть можетъ, мы найдемъ разгадку если не посредственности нашихъ романовъ историческихъ, то успѣху историческихъ романовъ. Въ этотъ разъ я не трону даже мягкимъ концемъ пера нравственно-сатирическихъ рома-

новъ: пускай себѣ шляются по сельскимъ ярмаркамъ или ночіютъ въ мирѣ и въ пыли. Въ утѣшеніе г-дъ сочинителей ихъ, признаюсь, что прочесть иныхъ не имѣлъ я случая, другихъ не стало терпѣнія дочесть, а многихъ, очень многихъ я вовсе читать не стану, хотя бы за этотъ подвигъ избрали меня въ почетные члены Сенъ-Доминго̀ской академіи. Это дѣло рѣшеное.

Мы живемъ въ вѣкѣ романтизма.

Есть люди, есть куча людей, которые воображаютъ, что романтизмъ въ отношеніи къ читателямъ мода, въ отношеніи къ сочинителямъ причуда, а вовсе не потребность вѣка, не жажда ума народнаго, не зовъ души человѣческой. По ихъ мнѣнію, онъ износится и забудется, какъ перстеньки съ хлорнистой известью отъ холеры; будетъ брошенъ какъ ленты à la giraffe, какъ перчатки à la Rossini или d'une altra bestia; что наконецъ онъ минуетъ, пройдетъ. Другіе простираютъ старовѣрство до невѣрія, до безусловнаго отрицанія бытія романтизма. «Все, что есть, то было; все, что было, то будетъ; ни что не ново подъ луною!» Согласенъ!..., Луна есть свѣтило ночное, а ночью всѣ кошки сѣры; но, ради Бога, господа, осмотритесь хорошенько: нѣтъ ли чего новаго подъ солнцемъ? Знаете-ли вы, мм. гг., что утверждать подобныя вещи

въ наше время, есть только героизмъ глупости — ничего болѣе. Можетъ ли сомнѣніе въ истинѣ уничтожить самую истину, и неужели романтизмъ, заключенный въ природѣ человѣка, и столь рѣзко проявленный на самомъ дѣлѣ, перестанетъ *быть*, отъ того что его читаютъ не понимая, или пишутъ о немъ не думая?

Мы живемъ въ вѣкѣ романтизма, сказалъ я: это во первыхъ. Мы живемъ въ вѣкѣ историческомъ; потомъ въ вѣкѣ историческомъ по превосходству. Исторія была всегда, свершалась всегда. Но она ходила сперва не слишно, будто кошка, подкрадывалась невзначай, какъ тать. Она буянила и прежде, разбивала царства, ничтожила народы, бросала героевъ въ прахъ, выводила въ князи изъ грязи; но народы, послѣ тяжкаго похмѣлья, забывали вчерашнія кровавыя попойки, и скоро исторія оборачивалась сказкою. Теперь иное. Теперь исторія не въ одномъ дѣлѣ, но и въ памяти, въ умѣ, на сердцѣ у народовъ. Мы ее видимъ, слышимъ, осязаемъ ежеминутно; она проницаетъ въ насъ всѣми чувствами. Она толкаетъ насъ локтями на прогулкѣ, втирается между вами и дамой вашей въ котильонъ. — Баринъ, баринъ! кричитъ намъ гостинодворской сидѣлецъ: купите шапку *Эриванку*. — Не

прикажете-ли скроить вамъ сюртукъ по-*Варшавски*? — спрашиваетъ портной. Скачетъ лошадь — это Веллингтонъ. Взглядываете на вывѣску, Кутузовъ манитъ васъ въ гостинницу, возбуждая вмѣстѣ народную гордость и аппетитъ. Берете щепотку табаку — онъ куленъ съ молотка послѣ Карла X. Запечатываете письмо — сургучъ императора Франца. Вонзаете вилку въ сладкій пирогъ и — его имя Наполеонъ!.... Дайте гривну, и вамъ покажутъ за гривну злосчастіе вѣковъ, Клитемнестру и Шенье, убійство Генриха IV и Ватерлоо, Березину и Св. Елену, потопъ Петербургскій и землетрясенія Лиссабона — и что я знаю!.... Разжѣвайте бѣлую бумажку, и вы будете кушать славу, слушать славу, курить славу, утираться славой, топтать ее подошвами. Да-съ, исторія теперь превращается во все, что вамъ угодно, хотя бы вамъ было это вовсе не угодно. Она вѣрна какъ Обріева собака; она воровка какъ сорока воровка: она смѣла какъ Русскій солдатъ; она безстыдна какъ блинница; она точна какъ Брегетовы часы; она причудлива какъ знатная барыня. Она-то герой, то скоморохъ; она Нибуръ и Видокъ черезъ строчку, она весь народъ, она исторія, наша исторія, созданная нами, для насъ живущая. Мы обвѣнчались съ ней волей и неволею и нѣтъ

развода. Исторія *половина* наша, во всей тяжести этого слова.

Вотъ ключъ двойственнаго направленія современной словесности: романтическо-историческаго. Надобно сказать однажды навсегда, что подъ именемъ романтизма, разумѣю я стремленіе безконечнаго духа человѣческаго выразиться въ конечныхъ формахъ. А потому я считаю его ровесникомъ душѣ человѣческой.... А потому и думаю, что по духу и сущности, есть только двѣ литературы: это литература до христіанства, и литература со временъ христіанства. Я назвалъ бы первую литературой *судьбы*, вторую литературой *воли*. Въ первой преобладаютъ чувства и вещественные образы; во второй царствуетъ душа, побѣждаютъ мысли. Первая лобное мѣсто, гдѣ рокъ палачъ, человѣкъ жертва; вторая поле битвы, на коемъ сражаются страсти съ волею, надъ коимъ, порой, мелькаетъ тѣнь руки Провидѣнія. Ничтожныя случайности дали древней литературѣ имя классической, а новой имя романтической, столь же справедливо, какъ новый свѣтъ окрестили Америкой, хотя открылъ его Коломбъ. Мы отбросимъ въ сторону имена, мы, которые видѣли столько полновѣсныхъ именъ, придавившихъ тщедушныхъ своихъ владѣльцевъ, какъ гробовая

плита; мы, которые слышали столько простонародныхъ имекъ, ставшихъ торжественною пѣснію народовъ! Какое намъ дѣло, что слѣпца Омира и щеголя Виргилія засадили въ классахъ подъ розгу Аристотеля; какое намъ дѣло, что Романскіе трубадуры, таскаясь по свѣту, разнесли повсюду свои сказки и припѣвы; какое намъ дѣло: классы ли, Романія ли, дѣлъ ихъ двумъ словесностямъ!... Намъ нуженъ конь, а не попона.

Возьмемся же за первобытную словесность, начнемъ съ яицъ Леды — и почему въ самомъ дѣлѣ не такъ? Развѣ эту фигуру не считаютъ началомъ міра и человѣка? Я надѣюсь, что вы читали Лукреція и Окена! Я надѣюсь, что вы уже держали экзаменъ въ асессоры!

Не помню кто первый сказалъ, что первобытная поэзія всѣхъ народовъ была гимнъ. По крайней мѣрѣ это мнѣніе приняло чеканъ Виктора Гюго. Мнѣніе, правда, блестящее, но ни на чемъ не основанное. «Человѣкъ, изумленный, пораженный чудесами природы, великолѣпіемъ міра, необходимо долженъ былъ славить Творца или твореніе. Удивленіе его наполнилось гармоническою пѣснею: то былъ гимнъ!» И такъ человѣкъ пѣлъ по нотамъ прежде чѣмъ говорилъ; и такъ первая пѣсня его была благодарность или торжество! Хо-

рошо сказано! Жаль только, что этотъ первенецъ невѣчій вовсе не сходенъ ни съ вѣроятностію, ни съ сущностію. Первенцы міра слишкомъ озабочены были сначала тѣмъ, чтобы себѣ завѣрить бѣдное существованіе, ночь за день, день за ночь! Лишенные всякой защиты и оружія отъ природы, они должны были сражаться съ непогодами, съ землею, со звѣрями, и когда развернулось въ нихъ немножко ума, привычка навѣрно убила уже удивленіе къ чудесамъ природы. Торжествовать ему было еще менѣе причины — ему бѣднягѣ, выщенному въ лѣсъ безъ шерсти отъ слѣпней, отъ холода, безъ клыковъ слона, безъ когтей тигра, безъ главъ рыси, чтобы увидѣть издали добычу, безъ крыльевъ орла, чтобы достичь ее. Очень сомнѣваюсь я, чтобы ему приходило на умъ пѣть соловьемъ, умирая съ голода. Что же касается до гимна благодарности, то мнѣ хочется и плакать и смѣяться плакать за праотцевъ, смѣяться съ гг. систематиками, которые порой мистифицируютъ насъ себѣ на потѣху. Вы забыли, конечно, что тогда не было еще ни мг. Буту, ни Бретигама, чтобы одѣть и обуть странника; не было трехъ-этажныхъ гостинницъ для ночлега, не было зонтиковъ и отводовъ, не было двухъ-стольныхъ ружьевъ съ пистонами; не было каретъ на рессорахъ.

Греки, правда, проскакавши въ колесницахъ Олимпійскихъ, распѣвали гимны, но слава заѣзжала имъ рессоры. Зачѣмъ же, скажите мнѣ, не поете ихъ вы, баловни XIX-го вѣка, вы, у которыхъ есть и слава и рессоры? Скажите же или пропойте мнѣ это? Чудный народъ! Хотятъ заставить пѣть гимны дикаря, который учился говорить у шакаловъ, и молчать сами, слышавъ столько разъ мамзель Зонтагъ! — Притомъ, я не знаю еще, признаете ли вы Индію люлькою человѣческаго рода (это мнѣніе убаюкало многихъ), или съ Ласепедомъ полагаете четыре первобытныя племени; или наконецъ, нахмуривъ, схвативъ за волосы объ эти системы (противорѣчіе точка сумасшествія нашего времени), вы думаете что Атласъ, Гималаія, Кавказъ и Кордильеры, какъ добрые кони на хребтахъ своихъ, развезли изъ Индіи племя человѣковъ; что полу-тигръ Готентотъ, полу-орелъ Черкесъ и полу-семга Лопарь, родные братья? Но пусть наша первая, наша общая отчизна Индія; съѣздимте жъ въ Индію волей и неволей; видно, не миновать намъ Индіи. Г-да физіологи могутъ такъ изучить холеру въ оригиналѣ, г-да археологи увѣриться, что (по зодчеству своему) церковь Василія Блаженнаго родная внучка такому-то или такому-то пагоду въ Балбекѣ, а г-да поэты до-

учиться Санскритскому языку, который похожъ на Русскій словно двѣ капли чернилъ, языку, на которомъ они сдѣлали такія блестящія попытки. Правда, что мы не понимаемъ ихъ, но вольно жъ намъ не знать по-Санскритски. Прогуляемся жъ въ Индію, г-да, хоть для того, чтобъ узнать, стоитъ ли тамъ жить гимны? Пароходъ Джонъ-Буллъ ужь давно курится у набережной... слышите ль звонятъ въ 3-й разъ!... Ѣдемъ.

И хотъ мы плывемъ не только вверхъ по теченію Гангеса, но и вверхъ по теченію вѣковъ. Покуда не бросили еще сходни на берегъ, я скажу вамъ, что по моему, первобытная поэзія народовъ непремѣнно зависитъ отъ климата. Такъ у Кафра, палимаго зноемъ, и у Чукчи, дрожащаго отъ мороза, у обоихъ, которымъ голодная смерть грозитъ ежедневно, первая поэзія, какъ первая религія, есть заклинаніе. Онъ черезъ колдуна, черезъ шамана, старается умилостивить злыхъ духовъ, или сковать ихъ клятвами. Напротивъ, у Скандинава, у Кавказскаго горца, у Араба, людей столько же гордыхъ какъ бѣдныхъ, столько же свободныхъ какъ безстрашныхъ, у коихъ все зависитъ отъ самого себя, которые ничего въ мірѣ не знаютъ выше собственныхъ силъ и отваги, поэзія есть пѣсня самохваленія. Проч-

ите вы саги, Оссіана, Моаллаки; послушайте пѣсенъ Аварца или Черкеса: это вѣчная варіація мѣстоименій *я* или *мы*; а мы значило у нихъ мой родъ, моя деревня, моя дружина. Грекъ уже гордъ народною славою: у него отечество не одно свое селеніе; силы его въ равновѣсіи съ силами природы; небо у него самое благорастворенное, и онъ, вдохновенный имъ, поетъ гимнъ: пѣснь благодарности богамъ, пѣснь торжества собственнаго. Но Египетъ, сожженный, закопченный солнцемъ Египетъ, который произведенъ и живетъ только мылостыней Нила, или эта Индія: оба края столь богатые драгоцѣнностями и заразами всѣхъ родовъ, гдѣ жизнь качается на остріѣ гибели.... скажите, могъ ли тамъ человѣкъ, запуганный природою, начать поэзію пѣснею благодарности или торжества? Конечно нѣтъ. Скорѣй всего она была *молитва*, ибо Индіецъ боготворитъ все, и всего хочетъ, ибо все манитъ его, и хочетъ съ жадностію, ибо завтра для него не существуетъ. Въ Индіи природа мать и мачиха вмѣстѣ, для младенца человѣка. Молоко великанскихъ ея сосцевъ смѣшано съ отравою; ея медъ опьяняетъ, какъ вино romodendron; благоуханіе цвѣтовъ ея убиваетъ мгновенно, какъ manzenilla; она душитъ человѣка то избыткомъ силъ, то избыткомъ

даровъ своихъ. Онъ чувствуетъ предъ ней свое безсиліе, свою ничтожность, и ползаетъ передъ судьбою, видя суетность разсчетовъ и залоговъ на будущее; онъ приноситъ жертвы Ариману, злому началу, наравнѣ съ жизнедавцемъ Сивою; онъ молится вещественнымъ силамъ природы, не рѣдко изуродованнымъ черезъ нелѣпый символизмъ отвлеченныхъ качествъ ея. Вотъ почему въ многобожной Индіи все носитъ на себѣ отпечатокъ религіозный, все, отъ пѣсень до политическаго быта, ибо поэзія и вѣра, вѣра и власть тамъ одно. Свидѣтели: Магабхарата и Рамаяна, двѣ огромныя поэмы Индійцевъ. Что такое онѣ, какъ не послѣдняя битва падшей вѣры и государства Магаде, съ побѣдительною вѣрою и властію Будды? Это страшныя грезы страшной дѣйствительности; это смѣшеніе самыхъ чистыхъ, первозданныхъ чувствъ съ самыми неестественными вымыслами; это благоуханная вязь цвѣтовъ, перевитая жемчугомъ и алмазами, плавающая въ потокѣ крови. Тамъ убѣдитесь вы, что Индіецъ можетъ только роскошно мечтать, а не мыслить. Его герои, звѣри или волшебники; его боги, чудовища, его вѣра угроза. Совсѣмъ тѣмъ, какъ ни грубы его вѣрованія, какъ ни бездушны его касты, какъ ни причудливы его воображенія,

вы легко замѣтите въ нихъ попытку души вырваться изъ тѣсныхъ цѣпей тѣла, изъ подъ гнета существенности, изъ плѣна природы, и наслаждаться въ новомъ, самозданомъ мірѣ, отвѣдать иной жизни, пожить съ фантастическими существами. Это романтизмъ по инстинкту, не по выбору.

Но для чего намъ распространяться о Восточной словесности? Она неизвѣстна была древнимъ; она чуть чуть извѣстна намъ, и потому не имѣла никакого вліянія ни на классическую, ни на романтическую словесность. Замѣтимъ только, что фатализмъ, злобный, неумолимый фатализмъ Индіи, смягчается у Персовъ, поклонниковъ огня, до мысли о благомъ промыслѣ. Онъ молится уже не идолу, но недосягаемому солнцу, живителю міра; онъ бездѣйствуетъ, но ужь болѣе изъ лѣни чѣмъ изъ безнадежности. Увидимъ, какъ ироетенъ и силенъ этотъ фатализмъ, рвнутый изъ своего покоя огнемъ Магомета, когда онъ далъ обѣтъ Арабамъ своимъ: мечемъ и Кораномъ завоевать свѣтъ и рай. Между тѣмъ какъ поэтическая религія Ислама, подобно лавѣ, растекается по Востоку и зажигаетъ его, сладкозвучный Фердуси плететъ въ радугу преданія Персіи, и связываетъ ею истину съ вымыслами. Говорю о Шахъ-Наме (повѣсть

царей), для которой ханжа Персіянинъ до сихъ поръ забываетъ свои четки, низкій корыстолюбецъ Персіянинъ останавливаетъ на воздухѣ руку, не досчитавъ своихъ туменовъ: для которой сластолюбивый лѣнтяй Персіянинъ открываетъ отяжелѣвшія отъ опіума вѣки, покидаетъ не запертымъ гаремъ и спѣшитъ послушать Шахъ-Наме отъ площаднаго пѣвца. Онъ слушаетъ и улыбается, и гордо гладитъ бороду. Милъ гуляка Гафизъ; трогателенъ мудрецъ Саади—но Фердуси—о, это Водопадъ Державина! Сколько разъ уносился я одной музыкой стиховъ его, въ то время, когда какой нибудь мулла морозилъ мысль безсмысленнымъ переводомъ!

И вотъ мы въ Греціи, въ Греціи, сторонѣ боговъ подобныхъ людямъ, въ странѣ богоподобныхъ мужей! Я увѣренъ, что этотъ saio mortali не удивитъ васъ: развѣ не учились вы играть въ манежѣ? Что касается до меня, вы сами видите, что я волтижирую на конькѣ своемъ не хуже Франкони сына.

Вторая, несомнѣнная степень поэзіи есть эпопея т. е. народныя преданія о старинѣ, одѣтыя въ шумную басни. Да, исторія всѣхъ племенъ, всегда начинается баснею, точно такъ-же какъ исторія всѣхъ народовъ должна заключиться нагою лѣтописью, если вѣрить,

что родъ человѣковъ совершенствуется. При этомъ вы всюдѣ находите поэму въ исторіи, равно какъ исторію въ сагахъ. Новички народы, точь въ точь дворяне изъ разночинцевъ, всегда хотятъ облагородить своихъ предковъ, закрыть шестрыми гербами прежнюю вывѣску, заставить расти свой родословный пень — гишлушку изъ облаковъ. Родоначальники ихъ нѣчто или герои или боги. Асиецъ ведетъ родъ свой отъ Феба; Камчадалъ считаетъ своимъ праотцемъ кита —это живительное солнце бытія его. Кромѣ того, первобытные народы младенчески вѣрятъ всему, что льститъ ихъ самолюбію. Любо имъ, чтобы ихъ боги ссорились межь собой за ихъ запечныя ссоры; чтобы они якшались съ ними за панибрата; безъ чуда не льзя было поколотить ихъ ни въ одной схваткѣ; не льзя было ступить шагу безъ содѣйствія чародѣевъ, ибо вѣра въ чудесное превращала для нихъ сверхъестественное въ естественное, творила невозможное обыкновеннымъ.

Туманы и вдали увеличиваютъ предметы, даютъ имъ затѣйливые образы. То-же самое и съ историческими истинами сквозь пыльный туманъ древности, между тѣмъ какъ нравы и климаты даютъ обликамъ сихъ преданій разные характеры.

Грецію набрало кажется Провидѣнія проявить мысль, до какой высоты изящества доступенъ былъ древній міръ, средою коего она была. Какъ ранній морской цвѣтокъ, она возникла изъ океана невѣжества, быстро созрѣла сѣменами всего прекраснаго, въ наукахъ, въ художествахъ, въ нравственности, въ политикѣ, въ поэзіи всего этого . . . бросила свое благоуханіе и сѣмена кѣтрамъ — и увяла, увяла прежде чѣмъ кровавыя волны поглотили ее. Свѣтлое небо Эллады отражалось не только въ водахъ Эгейскаго моря, но и въ душахъ, въ нравахъ, въ гармоническомъ языкѣ Грековъ. Восточная поэзія — чувственность и греза; Греческая — все чувство вѣрное, пылкое чувство, которое плѣнялось родною, величественною природою, которое рвалось изъ груди на просторъ, точно такъ-же какъ самъ Грекъ всю жизнь проводилъ на воздухѣ, на раздольѣ. Выходецъ изъ Азіи, онъ принесъ въ своей котомкѣ лишь самыя легкія повѣрья и сказки дѣтства; онъ бросилъ на мѣстѣ прежнихъ сторукихъ крокодилоглавыхъ, птицеглавыхъ, треглавыхъ идоловъ; онъ забылъ дорогою Аримана, онъ научился въ скитаньяхъ своихъ своевольничать; онъ окрѣпъ, онъ сталъ дѣятеленъ, онъ сталъ забіяка, онъ сталъ крикунъ, онъ сталъ настоящимъ Грекомъ. И

право, если-бъ между разгульными богами Олимпа не замѣшалась грозная *'ΑΝΑΓΚΗ* — Судьба, отъ которой сами боги трепетали какъ осиновый листъ, вы-бы не узнали, въ гинецеѣ —гарема, въ Пиреѣ — базара, въ Алкивіадѣ —потомка какого нибудь изъ героевъ Магабхараты. Главное въ томъ, что душа Грека изливалась вся наружу: онъ жаждалъ битвъ и пѣсень; онъ пѣлъ природу и битвы, и выраженіе ихъ у Грека было въ совершенномъ соотвѣтствіи съ предметомъ; выраженіе его отличалось особенною гармоническою точностію и такъ сказать отражаемостію, зеркальностію. Вотъ отъ чего вся поэзія Греческая, въ стихахъ-ли, въ мраморѣ-ли, въ мѣди-ли она проявлялась, ознаменована недоступною для насъ и плѣнительною для всѣхъ красотою. Никто лучше не выражалъ чувственной природы, ибо нигдѣ нѣтъ природы лучше Греческой. Но не одинъ голый переводъ съ природы, не слѣпое, безсознанѣнное подражаніе жизни находимъ мы въ поэзіи Грековъ. Въ произведеніяхъ искуствъ мы находимъ идеалъ веществennопрекраснаго, т. е. тысячи разсѣянныхъ красотъ, геніально слитыхъ воедино, красотъ, можетъ никогда невиданныхъ, но угаданныхъ душею. Въ драмахъ, въ одахъ — сверкаютъ уже мысли, замѣтно уже стремленіе къ высокой, но не яс-

ной цѣли. Впослѣдствіи философы высказали то, о чемъ пѣли поэты. Романтизмъ опередилъ не нѣмцу; однако, сколько вѣковъ протекло между Омиромъ и Платономъ.

О м и р ъ ! ? . . .

Когда вы произносите это священное, освященное вѣками имя, кажется, вся *Эллада* возстаетъ изъ праха огромнымъ призракомъ! . . . Кажется, видишь гиганта Атласа, который выноситъ на плечахъ своихъ весь древній міръ изъ ночи забвенія. Скажите, чего нѣтъ въ Иліадѣ и Одиссеѣ? Теогонія, родословіе всей Греціи, землеописаніе полу-міра, исторія, анатомія, все что зналъ въ тѣ поры гуртомъ родъ человѣческій, все тамъ, и это все — самая ничтожная, незамѣтная частица сравненія съ величіемъ поэзіи, съ роскошью образовъ! Никто не зналъ, гдѣ началась колыбель этого генія; никто не знаетъ, гдѣ его могила. Онъ явился въ міръ, исчезъ изъ міра, и до того изумилъ всѣхъ, что начали, не безъ причины сомнѣваться въ его существованіи, по крайней мѣрѣ въ цѣлости поэмъ, ему приписанныхъ, трудовъ, едва-ль доступныхъ одному человѣку.

Пускай, впрочемъ, будетъ Омиръ загадкою, заданною намъ древностію; пускай, имя его

есть собирательное имя всѣхъ поэтовъ, до него жившихъ; пускай Иліада есть перечень тысячи рапсодій, сшитыхъ искусною рукою. Дѣло въ томъ, что подъ его именемъ извѣстныя эпопеи стали типомъ, образцемъ тысячи другихъ эпопей, начиная съ Энеиды, до какой-то Русской *иды*, или *ады*, или *оиды*, въ которой затеряны слѣдующіе стихи:

«Межь тѣмъ какъ Ѳеодоръ звонилъ въ колокола,
(Его любимая охота въ томъ была)».

Я думаю, каждый народъ имѣлъ свои эпопеи, въ какомъ-бы лицѣ они ни проявлялись; но имѣлъ въ возрастъ юношества, не иначе. Юность все чувствуетъ и всему вѣритъ; юность простодушна какъ ребенокъ и смѣла какъ мужъ. Вотъ почему такъ неудачны были всѣ попытки, во времена разума создать или повторить народную эпопею. Большаго промаха далъ Торквато, замѣшавъ языческихъ боговъ въ свою великолѣпную поэму, поэму христіанскую въ полной мѣрѣ; но еще забавнѣе Вольтеръ, заставившій дѣйствовать отвлеченныя понятія въ лицахъ, въ своей надутой Ганріадѣ, этой выношенной до нитки аллегоріи, которой рукоплескалъ XVIII-й вѣкъ до мозолей, зѣвая подъ шляпою, и надъ которою мы даже не зѣваемъ, отъ того что спимъ.

Видя, что народъ не вѣритъ уже сказкамъ, эпопея перекидывается въ драму. Она отрубаетъ отъ исторіи какое нибудь частное происшествіе и переливаетъ его въ свою огромную форму; выхватываетъ изъ толпы царей нѣсколько именъ, отмѣченныхъ природою или молвою, и путаетъ ихъ въ невидимыя цѣпи судьбы, бросаетъ имъ молнію роковыхъ страстей въ грудь, раститъ эти страсти до великанскихъ размѣровъ, заставляетъ совершать страшныя злодѣйства, и потомъ, неумолимый судія, она бичуетъ преступника змѣями фурій, разсѣкаетъ его огненнымъ мечемъ своимъ пополамъ, и показываетъ его сердце на-голо зрителямъ, безмолвнымъ отъ ужаса, сердце, на которомъ вы видите еще зубы совѣсти, которое плачетъ кровью, которое трепещется отъ мученій. Такова была трагедія древнихъ, трагедія Эсхила, Софокла и Эврипида. Отъ того-ли, что она для большей свободы избирала героевъ, уже удаленныхъ во мракъ старины, или покорна была вліянію наружности, только всегда она выводитъ на сцену царствованія злосчастія, какъ будто человѣкъ не имѣлъ въ себѣ довольно величія. Не такъ понимали природу Шекспиръ, Шиллеръ, Викторъ Гюго, и менѣе-ль занимателенъ ихъ падшій ангелъ-человѣкъ, ихъ человѣкъ-мѣщанинъ, родня боговъ-Атридовъ?

Напротивъ комедія принадлежала собственно народу, ибо она изображала народъ въ домашнемъ быту, на распашку, народъ вольный однакожь, народъ царя наизнанку, народъ, который зашивая дыры на туникѣ, толковалъ какъ разбить Кееркса или Югурту. Отъ того комедія у Грековъ и Римлянъ имѣла всегда политическую цѣль: она колола смѣша; она была прихожею Пирея или Форума, битвой застрѣльщиковъ, въ которой партіи пытали или добивали другъ друга. Мы видѣли и увидимъ, что новая трагедія, или лучше сказать новая драма, которая какъ жизнь наша смѣется и плачетъ на одномъ часу — вырываетъ своимъ деревяннымъ кинжаломъ изъ могилъ еще неостылые трупы героевъ, не дожидаясь, чтобы давность увлекла ихъ на историческій выстрѣлъ: она судитъ ихъ у гроба, подобно Египтянамъ или что и того злѣе, терзаетъ ихъ заживо, будто-бы она, какъ орелъ не можетъ ѣсть ничего кромѣ животрепящаго мяса. Да, рано застаетъ насъ потомство, жестокое, неумолимое потомство! застаетъ врасплохъ, подслушиваетъ или угадываетъ нашу исповѣдь, и не даетъ разрѣшенія; бросаетъ горсть земли въ очи покойника — и не молвитъ обычнаго *миръ съ тобою!* Нѣтъ . . . оно шевелитъ, оно вытаскиваетъ какъ шакалъ на свѣтъ кости,

бросаетъ на вѣтеръ пепелъ, клеймитъ самую гробницу насмѣшкой или презрѣніемъ, или съ проклятіемъ ломаетъ ее въ дребезги!

Наконецъ за драмою возникаетъ романъ, и потомъ идетъ объ руку съ драмою, романъ, который есть не что иное какъ поэма и драма, лиризмъ и философія и вся поэзія въ тысячѣ граней своихъ, весь свой вѣкъ на обѣ корки. Древніе не знали романа, ибо романъ есть разложеніе души, исторія сердца, а имъ нѣкогда было заниматься подобнымъ анализомъ; они такъ были заняты физическою и политическою дѣятельностію, что нравственныя отвлеченности мало имѣли у нихъ мѣста; кромѣ того, гдѣ, скажите, онѣ являлись развитыя не диссертаціями, а приключеніями? *Жизнь была сама по себѣ*, а ученость *сама по себѣ* . . . Я, по крайней мѣрѣ, не знаю ни одного романа, завѣщеннаго намъ древностію, ни одного, кромѣ ея исторій. Романъ, каковы Гаргантуа и донъ-Кихотъ, дѣти новаго порядка вещей, наслѣдники среднихъ вѣковъ. О насъ, мильонщикахъ въ этомъ отношеніи, рѣчь впереди.

Между тѣмъ, важный переломъ міра вещественнаго отъ міра духовнаго тихо готовился

въ Элладѣ и въ Римѣ, уже источенныхъ порокамп . . . Мраморные боги шатались, но стояли еще; за то ихъ треножники были холодны безъ жертвъ, сердца язычниковъ холодны безъ вѣры. Давно уже Сократъ толковалъ объ единствѣ Бога — и выпилъ цикуту, осужденный за безбожіе. Но эта чаша смерти стала заздравной чашей новаго ученія, которое проникло даже въ сердца Пріаповъ — убійцъ Сократа. Школа Неоплатониковъ разрасталась, разливалась далѣе и далѣе — она была для земли, раздавленной деспотизмомъ, прелюдіей небесною! Души, томимыя пустотою, чего-то ждали, чего-то жаждали — и свершилось.....

Древній міръ палъ.

Но онъ палъ сражаясь; палъ послѣ долгой битвы, и стрѣлы его глубоко остались въ тѣлѣ новаго ратоборца. Долго, долго потомъ, въ поэзіи, въ художествахъ, въ обычаяхъ, отзывались повѣрья язычества, равно Готическаго и Эллинскаго. У безсмертнаго Данте, Виргилій *come persona accorta* провожаетъ поэта по всѣмъ закоулкамъ христіанскаго ада. Въ католическихъ соборахъ, каріатиды-сатиры крякхтя поддерживаютъ хоры, или корчатся отъ святой воды въ украшеніяхъ крещальницы. Языческіе обряды остались доселѣ не только въ играхъ народныхъ, но слились иные и съ

обрядами вѣры. Зачѣмъ ходить далеко: вспомнимъ постриги и поминки; вспомнимъ игрища Ярилы и колядованія о святкахъ, семикъ и пр. и пр. и пр. — Я ужь не говорю, или я еще не говорю, о нашествіи на Русь Грецкаго вкуса, который заставилъ нашего Ивана Горюна заиграть на свирѣлкѣ Дафниса и Мелалка, наслалъ въ наши пѣсенники Купидоновъ и Нимфъ, и расплодилъ по всѣмъ городамъ пародіи Римскихъ и Греческихъ зданій. Приторный вкусъ, несообразный ни съ характеромъ, ни съ климатомъ нашимъ!

. . . . . .

Для насъ однакожь необходимъ фонарь исторіи, чтобы во мракѣ среднихъ вѣковъ разглядѣть между развалинъ тропинки, по коимъ романтизмъ вторгался въ Европу съ разныхъ сторонъ и наконецъ укоренился въ ней, овладѣлъ ею. Странное дѣло: Востоку суждено было искони высылать въ другіе концы міра, съ индиго, съ кошенилью и пряностями, свои повѣрья и вѣрованія, свои символы и сказки; но Сѣверу предлежало очистить ихъ отъ грубой коры, переплавить, одухотворить, идеализировать. Востокъ провѣщалъ ихъ въ какомъ то магнетическомъ снѣ, безсвязно, безотчетно: Сѣверъ возрастилъ ихъ въ теплицѣ анализа, ибо Востокъ есть воображеніе, а Сѣ-

верх разумъ. Я не принимаю съ собой ни старичковъ нашихъ въ плисовыхъ сапогахъ отъ подагры, ни молодежи съ одышкою отъ танцевъ. Пойдутъ со мной одни охотники побродить — но, ради Бога, ни костылей, ни ночвей!

Предпослѣдній Римлянинъ умеръ съ Катономъ, послѣдній съ Тацитомъ. Преторіанскія когорты продавали уже съ аукціонъ Августа съ молотка, и бездарные тираны, одинъ за другимъ, а навсегда имѣютъ по двое, восходили на престолъ, чтобы удавить съ высоты этой Тарпейской скалы цѣлый свѣтъ своимъ развратомъ и насиліемъ. Но Римъ стоялъ такихъ цезарей, когда могъ ползать предъ ними, лизать ихъ стопы . . . Со всѣмъ тѣмъ, имя *Рима*, все еще пугало, упрекало ихъ прежнею славою, прежними доблестями, настоящимъ позоромъ обѣихъ, и Константинъ перенесъ столицу въ Византію. Римъ переѣхалъ въ Грецію, но переѣхалъ только въ титулѣ императора; онъ не привезъ на берега Босфора ни пепла, ни духа предковъ. Римскому орлу привилѣли еще голову, позабывъ, что варвары подрѣзали ему крылья. Коварство замѣнило силу, семейныя сплетни и расколы заняли изнѣженный Дворъ Византіи, между тѣмъ какъ Европейскіе и Азіятскіе и Африканскіе дикари нани-

рали на границу имперіи, вторгались въ ея сердце, пускали на жатву мечъ, раскатывали головней города. Какой словесности можно было ожидать при такомъ Дворѣ, въ такомъ выродившемся народѣ? Надутая лесть для знатнаго класса, щепетильная схоластика и богословскія сплетни въ школахъ — вотъ что, подобно репейнику, цвѣло тамъ, гдѣ красовались прежде Тиртей, Сафо, Демосѳенъ. Правда, Іоаннъ Златоустъ, святой Августинъ, Григорій Назіанзинъ, Синезій, въ Римѣ, въ Кириней, въ Аѳинахъ, въ Птолемаидѣ, разливали во всемъ блескѣ и чистотѣ ученіе духовной жизни, воплощали христіанство въ нравы, но сила ихъ плѣнительнаго, убѣдительнаго краснорѣчія прешла съ ними вмѣстѣ; вѣка и волны варваровъ протекли между ихъ кликомъ и отголоскомъ. Римъ палъ жертвой мести за насиліе; Греція пала жертвой зависти отъ безсилія. Вся дѣятельность жизни сосредоточилась на Западѣ: тамъ лишь, за развалинами власти Римской, бились кочевые народы, потоками крови омывали другъ друга съ лица земли, или отбрасывали, загоняли куда глаза глядятъ; но въ хаотическомъ мракѣ и бурѣ Среднихъ Вѣковъ готовился новый порядокъ гражданственности и нравственности. Народы-завоеватели стали станомъ посреди побѣжден-

ныхъ, раздѣлили ихъ вмѣстѣ съ землей предъ собою какъ добычу, сохранивъ и въ мирѣ на случай похода военное чиноначаліе. Вся Европа обросла тогда замками феодальныхъ бароновъ, между которыми раскрошилась власть прежнихъ царей. Многіе изъ Готическихъ и Славянскихъ народовъ управлялись сходками (Meeting, Werhmaney, сеймъ), большая часть Князьями (könig, prince, suzerain, herzog, earle, comte), набранными въ вожди, въ начальники, то на время похода, то на время мира, иногда для того и другаго вмѣстѣ. До поры осѣдлости, можно сказать, одна война была религіей западныхъ варваровъ, и потому христіанская вѣра быстро разлилась между ними, равнодушными къ старому, жадными къ блестящимъ новостямъ. Лонгобардъ, нарядившись въ Римскую тогу, захотѣлъ и молиться въ Римской базиликѣ. Для побѣдителей вѣра сія была роскошь, отличіе; для побѣжденныхъ услада. Первымъ она давала частые предлоги къ завоеваніямъ; вторымъ надежду на свободу, на облегченіе, по духу евангельскаго братства. Посреди этого броженія, воеванія, сокрушенія народовъ, возникло невѣдомое варварамъ сословіе духовенства, сословіе независимое отъ дворянъ десятиною съ народа, защищенное отъ народа святостію своего сана. Непрестанно и без-

предѣльно возрастающая власть сто, власть, которой представителемъ былъ папа, доказала свѣту силу слова надъ совѣстію, побѣду духа надъ грубою силою. Пользуясь суевѣріями невѣжества, католическое духовенство (уже давно отдѣленное отъ Восточной Церкви) не безъ битвъ, но безъ славы захватило царство сего міра, проповѣдуя «царство не отъ міра сего». Крестъ сталъ рукоятью меча; тіара задавила корону, и монастыри — эти надзвѣздные гробы — устремили къ небу колокольни свои, сложенныя изъ разрушенныхъ замковъ. Со всѣмъ тѣмъ, эпоха была самая драматическая, поэтическая: жизнь не текла, а кипѣла въ этотъ вѣкъ набожности и любви, вѣкъ рыцарства и разбоевъ. Охотничьи рога пріѣзжихъ въ лѣсу безъ устали. Вдали рокотало аббатство вечерню звономъ колоколовъ. Турниры сливали во-едино красоту и отвагу. Странствующіе рыцари ломали копья на всѣхъ перекресткахъ. Баронъ на барона ходилъ войной во время своему сюзерену. За то странникъ всѣхъ случался въ калитку феодальнаго владѣльца, садился за нижній конецъ его стола, и платилъ за гостепріимство разсказомъ. Бродячій пѣвецъ былъ необходимое лицо и на похоронахъ. Отъ вымышлъ чару (эта прелюдія сохранилась очень набожно между пѣвцами)

и пѣлъ, бренча на арфѣ; пѣлъ романсы про битвы и подвиги предковъ, про дивныя приключенія паладиновъ, про чародѣевъ-завистниковъ, про похищенныхъ красавицъ; про искушенія Святыхъ угодниковъ, которые выручали несчастныхъ изъ когтей бѣса или изъ подъ колеса судьбы. Но больше всего они пѣли про славу и любовь, ибо всѣ тогда любили славу и славили любовь. Христіанство вывело женщинъ изъ-за рѣшетокъ и покрывалъ, и поставило ихъ наравнѣ съ мущинами. Рыцарство возвысило ихъ надъ собою и природою; сдѣлало изъ нихъ идоловъ, обожало ихъ, чуть не обожествило ихъ. Обѣты, испытанія и постничества, едва вѣроятныя нами, были тогда обыкновенное хлѣба насущнаго. Этотъ духовный союзъ душъ, это неизмѣнное стремленіе къ предмету своей страсти, это чудное свойство: во всей природѣ чувствовать одно, видѣть одно — не есть-ли практическій романтизмъ, романтизмъ на дѣлѣ? — Прибавьте ко всему этому установленіе военнодуховныхъ орденовъ, пролившихъ врачный мистицизмъ на поэзію, и ужасъ, наведенный тайнымъ судилищемъ на всѣхъ. Vehmgericht былъ какая-то стѣнь, тяготѣвшая надъ средними вѣками, какое-то подземельное привидѣніе, поражавшее какъ разбойникъ изъ-за угла. А проклятія Церкви? а

инквизиція ? . . . Вотъ отъ чего пѣсни трувеpовъ, миннезингеровъ, менестрелей, такъ часто переходятъ отъ звона мечей ко вздохамъ, отъ клятвы къ молитвѣ, отъ грусти разлуки къ бѣшенству гуляки — и пѣсня ихъ не рѣдко замираетъ недокончепная, будто они оглядываются со страхомъ, не подслушиваетъ ли ихъ какой домовой или разсыльщикъ.

Но всего болѣе на Готическую литературу произвело впечатлѣнія вторженіе Нордманновъ (нашихъ Варяговъ) во Францію, Мавровъ въ Испанію, и крестовые походы.

Шайки голодныхъ, полунагихъ, но безстрашныхъ, бѣшеныхъ славою Скандинавовъ, кидались въ лодки, выбирали себѣ морскаго царя (See Konung) и подъ его началомъ переплывали моря неизвѣстныя, входили въ первую встрѣчную рѣку, волокли на себѣ ладьи по землѣ, если нужно было спустить ихъ въ другую рѣку, и по ней вторгались внутрь сильныхъ обильныхъ государствъ ; гибли или покоряли области, сражались не спрашивая числа, грабили, истребляли не щадя ни пола, ни святыни ; но взявъ осѣдлость, укрощались вѣрою, хотя страсть къ завоеваніямъ и водному кочевью долго бросала ихъ потомковъ на другіе народы.

Вспомнимъ завоеваніе нашей родины и Нормандіи, сперва ; завоеваніе Англіи, потомъ,

и частные набѣги ихъ въ Испанію, въ Сицилію, въ Ирландію, всюду, гдѣ была добыча на приманку и вода для сплава. Скоро забыли Скандинавы своего Одина, своихъ Валкирій, свою Валгаллу (рай), обѣщанную храбрымъ — но духъ сагъ ихъ, но мыслительность Сѣвера, соединясь съ остроуміемъ и живостію Французовъ, внѣдрились въ характеръ Нормандскій, и переплывъ за Ламаншъ съ Вильгельмомъ завоевателемъ, перегорѣвъ въ пламени битвъ и мятежей, возникли, величественны и самобытны, въ литературѣ Англійской, которая по праву и по достоинству стала образцовою. Изъ этой-то амальгамы, безпечнаго, вѣтренаго, легкомысленнаго, всегда поющаго Француза, съ житедемъ угрюмаго Сѣвера, который будучи осажденъ зимою въ своей хижинѣ, по неволѣ былъ загнанъ въ самого себя и углублялся въ душу, произошелъ неподражаемый юморъ, отличающій вѣкъ нашъ. Стоики величались тѣмъ, что презирали страданье и смерть — юморъ дѣлаетъ лучше безъ всякой хвастливости: онъ смѣется въ промежуткахъ страданій и шутитъ надъ смертію, играетъ съ цѣпей; не рѣдко рискуетъ самою душой для остраго словца. Мы воротимся къ нему, когда станемъ говорить о стихіяхъ романтической словесности.

Нужда выживала Скандинавовъ изъ отчизны, а безуміе отваги, жадность къ славѣ влекли ихъ къ опасностямъ и завоеваніямъ. Мавры были двинуты вдохновеніемъ Магомеда. Съ кликомъ: бисмалла! бисмалла! (во имя Божіе) ворвались они въ Испанію и принесли съ собою Востокъ, во всей изящности поэзіи, архитектуры и нѣжничества; но по несчастію, просвѣщеніе халифовъ было не звѣзда, а ракета: оно изумило, плѣнило всѣхъ — и погасло въ неразгонимой тучѣ Испанскаго невѣжества. Но если съ паденіемъ Боабдила, университеты Пиренейскаго полуострова вѣкъ отъ вѣка погрязали глубже въ болото вздорной схоластики, за то роскошь выраженій, за то новость стиля чудно привились къ Европейскому романтизму, и утонченное рыцарство, вмѣстѣ съ сегедиллами и романсерами, вмѣстѣ съ витыми столбами, съ кружевнопрорѣзными башенками, со стрѣльчатыми окнами, разлилось по всему лицу Европы.

Трудно постичь, какъ могли Мавры мусульмане возвыситься до такой степени чистоты въ понятіяхъ уваженія къ женщинамъ и рыцарской чести, въ чемъ они стали указкою для Европейцевъ! Впрочемъ, они, запирая женъ своихъ подъ замокъ, тѣмъ не менѣе охочи были поволочиться за христіанками, хотя-

бы то была чужая жена или невѣста, и такъ-же охотно давали серенады подъ окномъ своей Дильферибъ (обольстительница сердецъ), какъ ломали копья на груди соперниковъ по славѣ или по любви. Бросая символическій букетъ на грудь своей любезной, Мавръ изъяснялся и въ рѣчи цвѣтами, подобіями, гиперболами. Онъ ввелъ въ моду узорочья, блестки, благовонія, насѣчку — и скоро ихъ калейдоскопическая пестрота отразилась на всей поэзіи Юга и Запада, а крестовые походы слѣдали ее еще болѣе общею. То была радуга Индустана, блеснувшая въ облакахъ Европы.

Крестовые походы были умилительное, величественное событіе. На зовъ бѣднаго пустынника короли покинули свои короны; дворяне за оружіе заложили или продали помѣстья; богачи роздали имѣнія бѣднымъ или монастырямъ, и цѣлыя поколѣнія, не зная дороги, не заготовивъ хлѣба, ринулись куда-то, восторженные духомъ набожности и негодованія, отбивать у невѣрныхъ гробъ Господень. Старъ и малъ тѣснился въ первый рядъ на битву, восклицая: «Такъ хощетъ Богъ!» И трижды обрушивалась такъ Европа на Азію, подобно ледяной лавинѣ, для того чтобъ растаять подъ жгучимъ солнцемъ Палестины. Храбрые крестоносцы погибли всѣ, потеряли все, и то что

завоевали, а то что оставили дома. Но дѣло судебъ Божіихъ никуда не даромъ. Огроменъ былъ подвигъ, слѣдствія неисчислимы. Крестовые походы дали средства усилиться королямъ, во время отсутствія непослушныхъ барововъ, сплавить во едино мелкіе народцы, округлить, устроить по-немножку свои королевства. Единовластіе и соединеніе (послѣдствіе его) бывали всегда благодѣтельны во времена междоусобій. Крестовые походы пресытили духовенство окладами, возгордили его властію, процетешую изъ религіознаго направленія умовъ — и все это на пагубу себѣ. Развратъ, лукавство, киченіе, злоупотребленіе исповѣди и разрѣшеній, самое богатство духовенства пробудили въ сердцахъ многихъ народовъ глухое чувство нетерпѣнія къ достоинству совѣсти, чувство зависти къ церковнымъ помѣстьямъ, выросшимъ потомъ ихъ . . . То было предтечею лютеранства, которое впослѣдствіи расколола на полы всю Европу, послѣ тяжкихъ войнъ и кровавыхъ явленій. Кромѣ того, не одни мощи и раковницы принесъ инвалидъ-крестоносецъ на родину, съ береговъ Іордана — о нѣтъ: изъ тяжкихъ походовъ своихъ онъ принесъ сѣмена нетерпимости. Науки раздвинулись опытнымъ познаніемъ свѣта. Словесность разбогатѣла Восточными сказ-

ками, столь причудливыми, столь замысловатыми! Въ нихъ-то впервые простолюдины стали играть роли наравнѣ съ князьями и ханами, и дворяне въ первый разъ сознались вниманіемъ своимъ, что и народъ можетъ быть очень занимателенъ, народъ, который у себя водили они въ оглашенныхъ, будто гончихъ, и цѣнили часто ниже гончихъ. Но и Европейскіе простолюдины (имъ далеко еще было до имени народа), не имѣвшіе никакихъ правъ, имѣли свои обычаи, свои забавы, свою поэзію. Составляя часть глыбы земли по закону, по природѣ они составляли часть человѣчества, и хотя ползкомъ, не подвигались впередъ, жили какъ вещь, но какъ живая вещь, любили, ненавидѣли. Мало дошло до насъ старинныхъ пѣсенъ черни Европейской въ первобытномъ видѣ (за исключеніемъ Британіи и нашей Руси, гдѣ народъ составлялъ массу), но мы можемъ угадать простонародное происхожденіе многихъ балладъ въ вычурныхъ стихахъ пѣвцовъ, которые занимали основу, не рѣдко и самыя выраженія, у безустныхъ преданій черни. Сказки за то, эта картина, это fac-simile ума старины, быта старины, живыя еще доселѣ въ устахъ простонародья, лежатъ бездоннымъ рудникомъ для родной поэзіи. Божественная поэзія! Ангелъ утѣшитель старины! Ты являлась вездѣ гдѣ толь-

ко нужно было отереть слезу, или дать сладость улыбкѣ. Ты одушевляла на добро и славу князей, гуслями пѣвцовъ; ты заставляла прыгать бѣднякъ подъ липою, гудкомъ бродячаго слѣпца; ты убаюкивала чудесною сказкою раба на пеплѣ хижины, сожженной въ двадцатый разъ междоусобіемъ. Ты смѣшила голодныхъ солдатъ своими прибаутками; ты бросала символы свои во всѣ обряды важныхъ случаевъ жизни; засыпала радужнымъ пескомъ крючковатое маранье (grimoire) приговоровъ. Ты населяла даже запечье и подполье рѣзвыми жильцами; давала голосъ бутылкѣ шинкаря, пѣсню оковамъ узника, блескъ топору казни. Ты была вездѣ, украшала все; ты вила струны свои то изъ цѣпочки наникадила, то изъ тетивы, то изъ удавки. Простой народъ почти всегда сохранялъ эту поэзію, но мы къ ней только что возвращаемся; и слава Богу! Лучше потолкаться у горъ на масляницѣ, чѣмъ зѣвать въ обществѣ Греческихъ боговъ или съ портретами своихъ напудренныхъ предковъ.

Между тѣмъ какъ дробные и большіе владѣльцы тормошили другъ друга, между тѣмъ какъ святыя войны укликали ихъ за тридевять земель, возникала и крѣпла въ Европѣ, совершенно незнаемая въ древности стихія гражданственности, стихія, которая впослѣдствіи

поглотила всѣ прочія — я говорю о мѣщанствѣ, bourgeoisie. Купцы и ремесленники, обыкновенные жильцы городовъ, желая собственнаго суда и расправы, покупали право на оные у своего владѣльца, деньгами или услугами, а иногда, чувствуя себя въ силѣ, возмущались просто, прибѣгали подъ защиту какого нибудь сосѣдняго владѣльца или епископа, и дрались на смерть съ тѣми, которые хотѣли по праву или по прихоти покорить ихъ вновь; лукавили, ползали въ безсиліи и витязничали опять до тѣхъ поръ, пока сила какого нибудь короля не уничтожала ихъ до тла, или сила обстоятельствъ не отсрочивала до позднихъ временъ. Случалось, что одна только часть города получала или брала право общины, отдѣлялась стѣной и не рѣдко вела войну съ сосѣдами. Случалось, что сами короли производили деревни въ слободы, и города въ общины, для населенія ихъ послѣ язвы или разворенія отъ враговъ. Какъ-бы то ни было, но эти коммюни (communes) не походили ни на Римъ, ни на Спарту, гдѣ городъ былъ государство; ни на Лондонъ и Парижъ, гдѣ городъ столица государства; ни даже на Тиръ, на Карѳагенъ, на нашъ Новгородъ, которые владѣли областями, имѣли отдѣльный политическій бытъ; это были просто города, иногда

съ неограниченнымъ самоуправствомъ внутри, и часто безъ выгона за стѣною. Но въ стѣнахъ всѣхъ городовъ вообще, и вольныхъ въ особенности, кипѣло бодрое, смышленое народонаселеніе, которое породило тотъ называемое среднее сословіе. Не имѣя видовъ земли, оно завладѣло силами и произведеніями природы, напало трудомъ человѣка, отдало имъ свои способности. Оно дало купцовъ, ремесленниковъ, художниковъ, ученыхъ; надѣло рясу священника, парикъ адвоката или судьи, нахлобучило шапку профессора, переодѣлось въ пеструю куртку странствующаго комедіанта; но всего важнѣе: оно дало жизнь писателямъ всѣхъ родовъ, поэтамъ всѣхъ величинъ, авторамъ по нуждѣ и по наряду, по ошибкѣ и по вдохновенію. Въ нихъ замѣчательно одно то, что родясь въ эпоху мятежей и реформъ, въ сословіи мѣщанъ, въ сословіи не имѣющемъ себѣ цѣну и между тѣмъ униженномъ, презираемомъ аристократіею, которая въ тѣ блаженныя времена считала все позволеннымъ себѣ въ отношеніи къ нижнимъ слоямъ общества — авторы воспитали въ своей кастѣ, и сохранили въ своихъ сочиненіяхъ какую-то насмѣшливую досаду на вельможъ и на дворянъ. Они сторицею отплатили имъ равно за насмѣшки, и подачки гораздо обид-

нѣйшія насѣкомыя. Не могши ступить за Китайскую стѣну благородства, которую сторожили могилы по крайней мѣрѣ двѣнадцати поколѣній (quartieri) — авторы бросали чрезъ нее стрѣлы сатиры, комедіи или эпиграммы, толковали сельской и городской черни объ обязанностяхъ господъ, а между тѣмъ духъ времени работалъ событіями лучше нежели всѣ они вмѣстѣ. Изобрѣтеніе пороха и книгопечатанія добило старинное дворянство. Первое ядро, прожужжавшее въ рядахъ рыцарей, сказало имъ: «Опасность равна для васъ и для вассаловъ вашихъ.» Первый печатный листъ былъ уже прокламація побѣды просвѣщенныхъ разночинцевъ надъ невѣждами дворянчиками. Латы распались въ прахъ. Ковы и семейныя тайны знатныхъ стали достояніемъ каждаго. Духъ завоевателя вездѣ: онъ рвался на просторъ, отъ того что тѣлу пришло черезъ чуръ тѣсно. Открыли новый свѣтъ; новый волканъ потрясъ Европу, утомленную папизмомъ. Войны протестантовъ на полѣ и на каѳедрѣ проявили духовность христіанской религіи во всей ея чистотѣ, а переводами на народные языки книгъ священнаго писанія она впервые стала знакома народу. Съ этихъ поръ, пророческій мистицизмъ, восточная роскошь описаній, иносказанія и торжественность языка

завладѣли всею поэзіею: міръ библіи ожилъ подъ кистью Рафаэля, подъ перомъ Мильтона, отразился во всемъ и вездѣ. Можно сказать: съ той поры не прекращала явная борьба двухъ началъ политическихъ, принявшихъ на себя сперва краску религіознаго фанатизма, а потомъ литтературной исключительности. Реформаты отвергли католичество, отъ того, что оно впало въ вещественность и вмѣшалось не въ свои дѣла, захвативъ чужое добро. Мы сбрасываемъ съ себя классицизмъ, какъ истлѣвшую одежду мертвеца, въ которую хотѣли нарядить насъ. И ничего нѣтъ справедливѣе: дубъ прекрасное дерево — слова нѣтъ; но дубовый пень плохая защита отъ солнца. Зачѣмъ-же вы привязываете дѣтей къ гвоздушкѣ, когда они могутъ найдти прохладу подъ кудрявою березою? Для живыхъ надо живое.

Со всѣмъ тѣмъ, эпоха возрожденія наукъ и художествъ не понимала такихъ полновѣсныхъ истинъ, и восхищенная находкою знаменитыхъ произведеній древности, увѣрила себя, что они безусловный образецъ изящнаго, и что кромѣ ихъ нѣтъ изящнаго. Затѣмъ, она принялась подражать до упаду Грекамъ, а пуще того Римлянамъ, которые сами передразнивали Грековъ. При томъ, Латинскій языкъ былъ

нарѣчіемъ вѣры, и чрезъ духовныхъ, служившихъ за секретарей, сталъ нарѣчіемъ прагматики; онъ-же былъ и ходячею монетою всѣхъ училищъ. Ученый не смѣлъ говорить иначе какъ по-Латыни, а писать и подавно, хоть отъ его Вандало-Римскаго языка Цицеронъ и въ могилѣ зарылся-бы въ глубь саженъ на три. Такъ было вездѣ для ученаго класса, или, лучше сказать, для педантовъ; но даровитые умы срывались со смычка, на который ихъ сажала съ Аристотелемъ свинцовая схоластика, и пробивали новыя троны въ области прекраснаго. Одна Франція, имѣвшая столь обширное вліяніе на всю Европу и въ особенности на словесность нашу, Франція живая, Франція вертлявая, Франція, у которой всякой вкусъ загарается страстью — постриглась въ монахини и заживо замуровала свой умъ въ гробовыя плиты классицизма. Въ то время, какъ Италія владѣла уже Дантомъ, однимъ изъ самыхъ творческихъ, оригинальныхъ геніевъ земли; когда Кальдеронъ населилъ Испанскую сцену драмами, полными огня и прелести; когда Камоэнсъ выплылъ на доскѣ съ разбитаго корабля, держа надъ головою своихъ Лузитанъ; когда Англія, въ мятежѣ волнъ и междуусобій, закалила духъ Шекспира, великаго Шекспира, который былъ сама поэзія,

весь воображенье... Эолическая поэзія сѣвера, глубокомысленное воображеніе сѣвера... въ то время, говорю, Франція набивала колодки на даръ Корнеля и разсыропливала Расина водою Тибра, съ оржадомъ пополамъ. Пускай-бы еще она изображала древній міръ, каковъ онъ былъ въ самомъ дѣлѣ — но она не знала его, еще менѣе понимала. Французы нарумянили старушку древность красивымъ красно, облѣпили ее мушками, затянули въ китовые усы, научили танцовать менуэтъ, присѣдать по смычку. Бѣдняжка запиналась на каждомъ шагу своими высокими каблучками; путалась въ хвостѣ платья; запиналась цезурами сверхъ положенія; была смѣшна до жалости, скучна какъ не льзя болѣе. Но зрителей и читателей схватывали судороги восторга отъ маркизовъ Фрестонъ, отъ шевалье Брютюсъ, отъ мадамъ Агриппины, лицъ очень почтенныхъ впрочемъ, и весьма историческихъ притомъ, которыя поминѣнно говорили проповѣди Александрійскими стихами, и обѣими горстьми кидали пудрой, блестками и афоризмами, до того приношенными, что они негодились даже на эпиграфы. Да однихъ-ли древнихъ переварили Французы въ своемъ соусѣ? Досталось всѣмъ сестрамъ по серьгамъ. И дикая Америкавва, и Турецкій султанъ, и Китайскій

мандаринъ, и рыцарь среднихъ вѣковъ — всѣ поголовно разсыпались конфетами привѣтствій, и всѣ на одну стать.

Зажмурьте глаза — и вы не узнаете, кто говоритъ: Оросманъ или Альзира, Китайская сирота или камеръ-юнкеръ Людовика XIV. Малютку природу, которая имѣла неисправимое несчастіе: быть недворянкою — по приговору академіи выгнали за заставу, какъ побѣгушку. А здравый смыслъ, точно бѣдный проситель, съ трепетомъ держался за ручку дверей, между тѣмъ какъ швейцаръ-классикъ напыщался передъ нимъ своею ливреею и преважно говорилъ ему: «Приди завтра!» И какъ долго не пришло это завтра, а все отъ того, что Французы нашли Божій свѣтъ слишкомъ площаднымъ для себя, живой разговоръ слишкомъ простонародныхъ, и вздумали *украшать природу*, *облагородить*, *установить языкъ!* И стали нелѣпы отъ того, что черезъ чуръ умничали.

Чудное дѣло: Французы, столь охочіе посмѣяться и пошалить всегда, столь развратные при Людовикѣ XV и далѣе, словно вмѣсто эпитимьи — становились важны входя въ театръ, стыдились услышать на сценѣ про румя-

ны, и слово *обѣдъ* изъяснили перифразами, какъ неприличность! Французы столь пылкіе, столь безразсудные въ страстяхъ, восхищались мороженными, подкрашенными страстями, не имѣвшими въ себѣ не только правды, но даже и правдоподобія! Французы, у которыхъ такъ недавно были войны Лиги, Варѳоломеевская ночь, аква-тофана и хрустальные кинжалы Медичисовъ, пистолеты Витри и ножъ Равальяка; у которыхъ рѣзали прохожихъ на улицахъ середи бѣлаго дня и разбивали ворота ночью запросто — на театрѣ боялись брызги крови, капли яду, прятали всѣ катастрофы за кулисы, и вѣстникъ обыкновенно выходилъ рапортовать о нихъ барабанными стихами. Мало этого: не смѣя драться передъ зрителями, Французскіе герои не смѣли ни поѣсть, ни вздремнуть, ни побриться передъ ними * — которыя подымали ихъ до облаковъ. Кромѣ того, Аристотелева пінтика, растолкованная по-свойски, хватала васъ за воротъ у входа и ревѣла: «Три единства или смерть! Признавайтесь: исповѣдуете-ль вы три единства?» И разумѣ-

---

* Что вытерпѣлъ Корнель, позволивъ въ своемъ Сидѣ пощечину!... Вольтерова Маріамна упала отъ того, что какой-то шалунъ закричалъ при отравленіи: «La reine boit!»

ется, вы крестились и говорили: «Да развѣ я какъ грибъ выросъ подъ сосною! Развѣ я не сидѣлъ на школьной лавкѣ!» И вотъ васъ вывезли въ театръ; и вотъ вамъ заказывали накрѣпко сморкаться и кашлять; и вотъ вамъ говорили: «Эта занавѣсная занавѣска — храмъ Эвменидъ, или дворецъ тирана (имя рекъ); дѣйствіе не продолжится болѣе сутокъ (скопленныхъ въ 4 часа, не исключая и междудѣйствій); а всего покойнѣе, что оно не укатится далеко, и будьте вы хоть подагрикъ все таки догоните его не задыхаясь.» Жалкіе мудрецы! И они еще увѣряли, что вѣроятность соблюдена у нихъ строго. . . . Вамъ будто безъ помощи воображенія можно забыться въ ихъ сидѣ-театрѣ, болѣе чѣмъ въ Англійскомъ театрѣ-самолетѣ, не скованномъ никакими условіями, никакими приличіями, объемлющемъ всѣ пути, всю жизнь человѣка! Неужто легче повѣрить, что заговорщики приходятъ толковать объ Идахъ марта въ переднюю Цезаря; чѣмъ колдованью 3-хъ вѣдьмъ на поляхъ? Ужели воображеніе какъ извощикъ нанимается только на день, и боится перейдти черезъ улицу, чтобъ не получить насморка? Ужели оно лучше пойметъ напыщенный, топорный, условный языкъ, которымъ не говорила ни

одна живая душа, нежели обычное между людьми нарѣчіе?

Какъ ни противуестественно все это, но все это сохранилось въ цѣлости до 1820 года. Франція побыла республикою, побыла имперіею; революція перекипятила ее до млада въ кровавомъ котлѣ своемъ — но старикъ театръ остался тѣмъ-же старикомъ. Ломая алтари, Франція не тронула точеныхъ ходулей классицизма; она отрекалась вѣры и осталась вѣрна преданіямъ Батте, стихамъ Делиля, такъ, что когда Русскій казакъ сѣлъ на даровое мѣсто въ Одеонѣ, въ 1814-мъ году, онъ зѣвалъ отъ тѣхъ-же длинныхъ, длинныхъ монологовъ, отъ которыхъ зѣвать изволилъ и Людовикъ XIV-й, съ тою только разницею, что революціонеръ Тальма осмѣлился не пѣть, а говорить стихи, проглатывать цезуры и ходить по-человѣчески, а не гусинымъ шагомъ.

Но не вся литература Французская катилась по театральной колеѣ. Смерть Людовика XIV-го выпустила на волю умы и нравы. Придворное волокитство превратилось въ развратъ, ханжество въ вольнодумство. Матеріализмъ закабалилъ философію. Рабле, проницательный ловецъ слабостей общества, и Монтань, глубочайшій наслѣдователь слабостей человѣка, оба романтики первой степени — были

забыты. Мольеръ и Лафонтенъ, два гения, которые посреди всеобщаго лицемѣрства и ползанья умѣли сохранить искренность и смѣли говорить правду — пошли за безцѣнъ. Вольтеръ, съ дружиною энциклопедистовъ, овладѣлъ всѣмъ вниманіемъ Европы; Вольтеръ, который былъ трибуномъ своего вѣка, представителемъ своего народа. Гордый ползунъ, льстецъ и насмѣшникъ вмѣстѣ, скептикъ по рожденію и остроумецъ по ремеслу, онъ первый своими сказками научилъ вольнодумство наѣздническои стрѣльбѣ насмѣшками. Вольтеръ былъ Діогенъ XVIII вѣка, но Діогенъ нѣженка, Діогенъ съ ключемъ на карманѣ, Діогенъ, который не только смѣялся надъ людьми и богами, но льстилъ Богу и людямъ.

Какъ ни велика была однакожь власть Вольтера, даже у насъ, гдѣ иные до сихъ поръ считаютъ его, жалкаго болтуна, величайшимъ философомъ, Вольтеръ не опередилъ своего вѣка. Своевольный, оригинальный въ родахъ сочиненій, имъ созданныхъ, онъ отъ души копировалъ въ Ганріадѣ древнюю эпопею, смѣялся надъ мужикомъ Шекспиромъ, и невѣря ни чему, набожно вѣровалъ въ преданія Французскаго театра. Можно судить, что онъ былъ не по плечу своимъ современникамъ, когда академія избрала его въ свои члены — за

Орлеанскую дѣву, поэму, питающую вѣкъ свой! И Франція рукоплескала этой поэмѣ, въ которой онъ волочилъ по грязи священное имя Іоанны д'Аркъ, и отдавалъ посмѣянію чистѣйшую славу ея предковъ!

Но романтизмъ имѣлъ представителя и въ эту пору вещественности: то былъ независимый чудакъ Руссо. До него, около него, въ поэзіи, ученые не видали ничего выше Грековъ и Римлянъ — идеалъ совершенства былъ у нихъ назади. За утопіей рылись они въ землѣ, а не въ небѣ. Напротивъ, блестящій сонъ Руссо, увлекательный парадоксъ Руссо, отвергъ не только всѣ обычаи общества, но извратилъ и самую природу человѣка, создалъ своего человѣка, выдумалъ свое общество. Правда, подобно Платону онъ заблудился въ облакахъ; онъ не достигъ истины, главнаго условія поэзіи; но онъ искалъ ея; онъ первый, хотя и въ бреду, сказалъ, что міръ можетъ быть улучшенъ иначе какъ есть, иначе какъ было. Донъ-Кихотъ утопіи, онъ ошибся въ приложеніи; но начала его были вѣрны. Поэтъ безъ рифмъ, мыслитель безъ недостатка, онъ оставилъ звѣно между матеріализмомъ вѣка и духовностію вѣковъ.

Но современники не могли постичь въ Руссо борепія двухъ этихъ силъ, не умѣли оцѣ-

нить его искренности: они только заслушивались гармоніи его краснорѣчія, выписывали страницы изъ Элоизы въ свои billet-doux — и отправлялись въ маленькій домикъ, на свиданіе съ какой нибудь маленькою маркизою. Откупщики доживали тогда остальные милліоны, аристократія послѣдній кредитъ свой, но все звенѣло, все прыгало: деньги и люди; система Лау изображала золото, котораго уже не было; титулы — достоинства, которыя исчезли; литература стала мелочна какъ люди, безстыдна какъ люди. Кребильонъ сынъ и подражатели Грекура (я беру только бланговыхъ) были достойными историками этой поры холоднаго, жеманнаго разврата, съ насмѣшкою на устахъ, съ носомъ на вѣтеръ, съ грудями на показъ . . . Не наше дѣло изслѣдовать грозу, всколебавшую всю Европу до дна и надолго; но долгъ нашъ замѣтить, что въ послѣдніе годы передъ революціей началось переселеніе мнѣній, гораздо разрушительнѣйшее чѣмъ переселеніе народовъ, и центромъ его была Франція, а проводникомъ его Французскій языкъ.

Матеріяльная Европа хлынула въ Россію, когда Петръ великій сломалъ стѣну, ихъ дѣлившую; но вѣку Петра нѣкогда было заниматься словесностію: его поэзія проявлялась

въ подвигахъ, не въ словахъ. Долгое бездѣйствіе пало на Русь, съ кончиною Его кипучей дѣятельности, а въ часъ досуга Русскій баринъ любилъ чужестранныя сказки; онъ некоими отличался необыкновенною уступчивостію своихъ нравовъ, необыкновенною пріемлемостію чужихъ. Онъ пилъ кумысъ съ ханами Золотой Орды; онъ носилъ контушъ при Самозванцѣ. За бороду, правда, онъ смерилъ долго, будто-бъ она приросла у него къ сердцу; но разъ въ мундирѣ—онъ грудью полѣзъ въ Нѣмцы. При Елисаветѣ Французскіе нравы смѣнили обычаи Бирона — Русскій баринъ не остался и тутъ назади, такъ что въ царствованіе Екатерины, смѣшеніе языковъ Гасконскаго съ Нижегородскимъ не было уже диковинкою. Съ тѣхъ то поръ привыкли мы жить Парижскими обносками и объѣдками, не разбирая стараго отъ новаго, хорошаго отъ худаго. Съ тѣхъ-то поръ Французская литература завалила матушку-Русь своими облонками и своими потомками. Съ притворною Французскою кухнею вѣхали къ намъ и герои Французскаго стряпанья. Бульонъ (не графъ Бульонъ) и галантинъ выставлены были на одномъ паспортѣ съ Нарцессомъ и Клеліею. Рагу и фрикассе нагрянули объ-руку съ Полифонтомъ и Нерономъ, тиранами желудка и

терпѣнія въ 4-хъ лицахъ. Зефиры и Адонисы, Ороиты и Селимены, сахарные голубки и розовые баранки, переложены были чепчиками и робронами. Мраморная челядь Олимпа, оборыши со всей Италіи, замыкала шествіе. Но пусть-бы ужь вытерпѣли мы одну скуку отъ настоящихъ и передѣланныхъ на Русскіе нравы Криспиновъ, Валеровъ, отъ злодѣевъ и наперсниковъ, которые приходятся ко всѣмъ лицамъ, какъ винты Систербецкаго завода ко всѣмъ гайкамъ. Пускай-бы ужь осуждены мы были слушать ухорѣзную Французскую музыку, питаться соусами-микстурами, слоняться по стриженнымъ въ видѣ грибовъ аллеямъ Ленотра, любоваться пестрядинными картинами Ванлоо. Такъ нѣтъ, Франція XVIII вѣка наводнила насъ пѣснями, гравюрами и книгами, постыдными для человѣчества, гибельными для юношества выдумками, охлаждающими сердца къ доблестямъ старины, лишающими собственнаго уваженія. Эти-то отвратительныя подстреканія убивали въ цвѣту лучшія надежды Россіи, ставя цѣлью бытія животныя наслажденія, внушая невѣріе, или, что еще хуже, равнодушіе ко всему благородному въ человѣкѣ, ко всему священному на землѣ! . . .

Краснѣя какъ Русскій, упоминаю (вспоминать я, слава Богу, не могу) про эту эпоху

графинекъ и князьковъ, пушекъ и фишекъ, привозныхъ романчиковъ въ 12-ю долю, и связей на 3 часа, не имѣвшихъ назначенія ни любви, ни мылу, ничего кромѣ моды—связей, не посыпанныхъ даже блестками Французскаго остроумія! — эпоху, въ которую городское дворянство наше такъ-же усердно старалось выказывать свою безнравственность, какъ въ другое время ее прячутъ; въ которую продажность гуляла вездѣ безъ умора или скрывалась безъ труда!! Довольно, и черезъ край, золотили мы прошлый вѣкъ свой—время на перекоръ намъ съѣдаетъ эту сусальную позолоту . . . Старички ахаютъ, заводя слово о тогдашнихъ веселыхъ, о дешевизнѣ, о легкости жить и служить! Надо знать (не къ тому будь сказано), каково отозвалось это дѣткамъ? Они выплачиваютъ долги ихъ и аптекѣ и ломбарду, за ихъ безразсчетную роскошь на нитьё, на здоровье, на самую доброту. Эмигранты отдарили насъ за гостепріимство не одною своею ничтожностію и безграмотными гувернерами, но профилями своими, но и пудами сублимату, но и душегубными книжонками, съ которыхъ переводы таятся донынѣ въ углахъ нашихъ уѣздныхъ библіотечекъ, на соблазнъ внукамъ. Кто однакожъ выслѣдилъ пути Продѣвшія, кто? Можетъ быть, оно нарочно да-

ею грязному ручью пробраздить дѣвственную землю, чтобы въ его ложе бросить по веснѣ многоводную рѣку просвѣщенія! . . . .

И не одна мода была причиною пристрастія Русскихъ къ Французской литтературѣ, но и потребность. По модѣ я могу пить лимонадъ вмѣсто квасу, но жажда тѣмъ не менѣе существуетъ во мнѣ, независимо отъ подражанія или привычки. Жажда чтенія пробудилась и въ Русскихъ съ начаткомъ просвѣщенія; а изъ какого источника могли они скорѣй всего утолить ее, какъ не изъ самаго подручнаго? Свое не было еще создано или таилось забыто! Англія для насъ лежала тогда на днѣ моря-Окіяна, Германія была еще нѣметчиною (т. е. безсловесною), не для однихъ насъ, древность пѣла Лазаря въ однѣхъ семинаріяхъ, и Тредьяковскій отпугнулъ Русскихъ на долго отъ гексаметровъ и древнихъ своими попытками. Ломоносова, правда, хвалили всѣ . . . и никто не читалъ! . . . Публика *экспликовала* свою *десперацію*, что ей нечего читать. *Аттенція* съ которой она приняла Курганова письмовникъ, ободрила писакъ на дальнѣйшіе подвиги, и вотъ Скюдери обновилась для насъ въ Ѳеодорѣ Эминѣ, Реньяръ назвался Княжнинымъ, трагедія завыла Сумароковымъ, эпопея отпѣла себя въ

Херасковѣ. И вдругъ, изъ этого моря миндальнаго молока, возникъ огнедышащій Державинъ, и взбросилъ до звѣздъ мѣдь и пламя Русскаго слова. Самородный великанъ этотъ пошелъ въ бой поэзіи по безднамъ, надвинулъ огнепернатый шлемъ, схвативъ на бедро лучъ солнца, раздавливая хребты горъ пятою, кидая башни за облака. Философъ-поэтъ, онъ первый положилъ камень Русскаго романтизма не только по духу, но и по дерзости образовъ, по новости формъ. Прочтите его Ласточку, его оду Богъ, его оду къ Счастію, его Фелицу, Вельможу, Водопадъ — и вы назовете ихъ романтическими поэмами. Его восторгъ сплавленъ всегда съ грустною мечтательностію.

Но едва-ли успѣхъ Державина заключался въ его талантѣ. Всѣ покланялись ему, потому что онъ былъ любимецъ Екатерины, потому что онъ былъ тайный совѣтникъ. Всѣ подражали ему, потому что полагали съ Парнасса махнуть въ слѣдующій классъ, получить перстенекъ или приборецъ на нижнемъ концѣ вельможи, или хоть позволеніе потолкаться въ его прихожей . . . . . Всѣ читали Державина — очень немногіе понимали. Публикѣ нужна была словесность для

домашняго обихода . . . И вотъ Богдановичъ промолвился очень мило своею *Душенькою*. И вотъ сонъ-Визинъ замѣденилъ для потомства лица своихъ современниковъ-провинціаловъ. И вотъ явился Дмитріевъ съ легкимъ стихомъ, съ летучимъ разсказомъ, съ нарѣчіемъ лучшаго общества, кой гдѣ съ прозленью народности. Но почти весь онъ состоялъ изъ переводовъ. Наконецъ блеснулъ образователь нашей прозы, Карамзинъ. Судьба дала ему двѣ, почти несовмѣстныя для другихъ выгоды: внушить въ Русскихъ романтическую мечтательность и потомъ заставить ихъ полюбить родную исторію; возбудить страсть къ самымъ положительнымъ изысканіямъ, какъ будто предвѣщая собой двойственное направленіе вѣка, которому предшелъ онъ. Гравировка началась у насъ лубочными картинками Спасскаго моста, знакомство съ Нѣмецкою словесностію драмами Коцебу. Мѣщанство ихъ не испугало насъ (династія Атридовъ не крѣпко въѣлась въ наши нравы). Понравилось намъ и посмѣяться сквозь слезъ — это такъ близко къ природѣ. Тогда Коцебу и Жанлисъ уже начали вводить въ моду ложную чувствительность, аханье надъ пустяками, слезы участія для слабостей любви, именно для слабостей — огня страстей, яду страстей они не знали. Карамзинъ привезъ

изъ-за границы полный запасъ сердечности, и его Бѣдная Лиза, его чувствительное путешествіе, въ которомъ онъ такъ неудачно подражалъ Стерну, вскружили всѣмъ головы. Всѣ завздыхали до обморока; всѣ кинулись ронять алмазныя слезы на ландыши, кадъ горшкомъ палеваго молока; топиться въ лужѣ. Всѣ заговорили о матери-природѣ — они, которые видѣли природу только съ просонка изъ окна кареты! — и слева *чувствительность, несчастная любовь*, стали шиболетомъ, лозунгомъ для входа во всѣ общества.

Вопреки этому безвременному, разслащенному Вертеризму, занятому по перечадѣ отъ Нѣмцевъ, XIX вѣкъ взошелъ не розовою зарею, а заревомъ военныхъ пожаровъ; но Русь еще дремала, Русская словесность еще пережевывала Мармонтеля и мадамъ Жанлисъ. Одинъ только самобытный, неподражаемый, Крыловъ обновлялъ повременно и умъ и языкъ Русскій, во всей ихъ народности. Только у него были они свѣжи собственнымъ румянцемъ, удалы собственными силами. Онъ первый показалъ намъ ихъ безъ пыли древности, безъ Французской фольги, безъ Нѣмецкаго вѣнка изъ незабудокъ. Мужички его природные Русскіе мужички; звѣрьки его съ неподкрашенною остью. Счастливцы мы: Крыловъ и XIX

вѣкъ были нашими крестными отцами! Первый научилъ насъ говорить по-Русски, второй мыслить по-Европейски. Тогда Державинъ уже дѣлилъ между поэтами-рапсодами любителей Русскаго слова. Дмитріевъ молчалъ уже; Карамзинъ еще писалъ только свою Исторію. Одинъ Крыловъ былъ достойнымъ представителемъ словесности нашей.

Между тѣмъ Европа пробивала вѣка въ немногіе годы. Русь вездѣ простирала мечъ свой между деспотизмомъ Наполеона и правами народовъ, которымъ грозилъ онъ; сражалась за нихъ . . . всегда благородно. Купчиха Англія стрѣляла чугуномъ и золотомъ и насвистала въ великана, который обѣщалъ согнать ее съ земнаго шара. Только Германія, улетѣвъ изъ житейской жизни, углубясь въ умозрительныя тонкости, прислушивалась къ гармоніи сферъ, и подобно Архимеду не слыхала, что враги берутъ приступомъ ея священныя твердыни. Англія давно имѣла свою огромную оригинальную поэзію, но она жила въ ней посреди волнъ и тумановъ, одинокою, какъ отшельникъ, счастливый міромъ дивныхъ мечтаній, въ груди его совершающихся. Міръ этотъ долго жилъ безъ отголоска въ нашемъ мірѣ, покуда геній Шиллера не угадалъ его дѣвственной прелести, и не увенчалъ Нѣмецкой словесности ро-

мантизма Шекспирова, во всей величавой его простотѣ. Предъ нимъ, за нимъ, рядомъ съ нимъ, закипѣла словесность, исторія, философія, критика, новыми, смѣлыми, плодотворными идеями, объяснившими человѣчество, раздвинувшими умъ человѣка уже не бѣднымъ опытомъ какъ прежде, но пытливостію воображенія. Тогда-же блеснулъ и Гете, который собралъ въ себѣ яркимъ свѣтиломъ всѣ лучи просвѣщенія Германіи, который воплотилъ, олицетворилъ въ себѣ Германію, мечтательную, полуземную Германію, вѣчно колеблющуюся между картофелемъ и звѣздами, Германію, которой половина въ пыли феодализма, а другая въ облакахъ отвлеченностей, Германію, простодушную до смѣха и ученую до слезъ, Германію всеобъемлющую, вселюбящую, всеанающую, все, начиная съ фиглярствъ Изидина храма, до замысловъ Розенкрейцеровъ, отъ символизма Зендъ-Авесты до магнетизма земли.

Все, что создали геніи Германскіе для памяти, для умозрѣнія, для воображенія, совмѣстилось въ Гете. Все яркое въ мірѣ отразилось въ его твореніяхъ, все . . . кромѣ чувствъ патріотизма — и этимъ-то всего болѣе осуществилъ онъ въ себѣ Германію, которая вынула изъ человѣка душу и разсматривала ее

отдѣльно отъ народной жизни; анатомировала законы природы, безъ отношенія ихъ къ человѣку. Фаустъ есть фокусъ генія Гете, точно такъ-же какъ самъ онъ былъ фокусомъ просвѣщенія и духа Германскаго.

Но Германія, истощенная умственнымъ усиліемъ ея геніевъ по всѣмъ отраслямъ точнаго и прекраснаго, геніевъ, которые какимъ-то чудомъ взошли дружными созвѣздіями вдругъ на горизонтѣ прошлаго полустолѣтія, упала въ дремоту, и воротясь изъ всемірнаго облета, усѣлась за частности, за бытъ замечный; нарядилась въ alte deutsche Tracht, заиграла на гудкѣ сельскую пѣсню, зафилософствовала на старый ладъ съ Геголемъ, затянула съ Уландомъ про *что-то* и *нѣсто*, превратилась въ лепетъ засыпающаго. Въ эту-то эпоху засталъ ее Жуковскій, и плѣненный чистою мечтательностію Шиллера и легендами Нѣмецкой старины, пересадилъ романтизмъ въ дѣвственную почву Русской словесности. Но онъ пересадилъ только одинъ цвѣтокъ его, одинъ изъ необъятной его природы. Еще Русь отзывалась грустными напѣвами Жуковскаго, еще передъ очами нашими носились туманные образы его поэзіи, еще сердце теплилось его неземною любовью, его отрадными надеждами замогильными, когда блеснулъ Александръ

Пушкинъ, рѣзвый, дерзкій Пушкинъ, почти ровесникъ своему вѣку и вполнѣ родной своему народу. Овладѣвъ языкомъ, овладѣвъ страстями до глубины души, онъ скоро могъ сказать вниманію публики: «Мое»! Сначала причудливый, какъ Потемкинъ, онъ бросалъ жемчугъ свой въ каждаго встрѣчнаго и поперечнаго; но закатилъ день Лафору и Парни, расплатившись съ Донъ-Жуаномъ, Пушкинъ сбросилъ долой плащъ Байрона, и въ послѣднихъ твореніяхъ явился гордъ и самобытенъ. Но я не распинусь въ обзорѣ ни о Державинѣ, ни о Жуковскомъ, ни о Пушкинѣ; да и зачѣмъ-бы я сталъ пересказывать то, что такъ дѣльно, такъ безпристрастно, такъ увлекательно высказано въ Телеграфѣ, журналѣ, которымъ должна гордиться Россія, который одинъ стоитъ за нее на стражѣ противъ старовѣрства, одинъ для нея на ловлѣ Европейскаго просвѣщенія!

Впрочемъ, имѣя цѣлію замѣтить, какое вліяніе производила дѣйствительность на поэзію, и какъ высказывалось вѣка поэтами, я не поставлю Державина на одну доску съ Жуковскимъ и Пушкинымъ, потому что первый изумилъ всѣхъ подобно комету, не печатъ въ лучахъ воздуха, безъ слѣда; а два послѣдніе были двигателями нашей словесности и затворили своимъ духомъ цѣлые табуны подра-

жателей. Народность Державина ускользнула отъ его близорукихъ современниковъ точно такъ-же, какъ незамѣтно протекла чистота языка Ломоносова прежде, и Державинъ, не смотря на ливень торжественныхъ одъ, умеръ безъ наслѣдниковъ, даже безъ подражателей.

Жуковскій и Пушкинъ, напротивъ, при жизни своей увлекли въ свою колею тысячи, но уклекли нечаянно, неумышленно, такъ сказать *гусаромъ**. Тма бездарныхъ и полударныхъ крадуновъ пѣвца Минваны, сдѣлались вялыми пѣвцами *увялой* души, утомительными пѣвцами *томности*, близорукими пѣвцами *дали*. И потомъ, собачій вой ихъ балладъ, страшныхъ одною нелѣпостію; ихъ бѣсы, пахнущіе кренделями, а не сѣрою; ихъ разбойники, взятые на прокатъ у Нодье, надоѣли всѣмъ и всякому не хуже нынѣшней гомеопатической и холерной полемики. Съ другой стороны Гяуризмъ и донъ-Жуанизмъ, выкраденный изъ кармановъ Пушкина, размѣненный на полушки, разбитый въ дробь, полетѣлъ изо всѣхъ рукъ.

---

* Биліардное выраженіе. Когда безразсчетнымъ ударомъ игрокъ положитъ въ лузу шаръ, въ который не мѣтилъ, это называется — гусаръ. *Примѣчаніе для прекраснаго пола.*

Житья не стало отъ толстощекой безнадежности, отъ самоубійствъ шампанскими пробками, отъ злодѣевъ съ биноклями, въ перчаткахъ glacés; не стало житья отъ похмѣльныхъ студентовъ, восѣвающихъ сальныхъ Гетеръ Фонарнаго переулка. Но какъ-бы то ни было, мы перестали играть въ жмурки съ мраморными статуями, и роковое слово: *Романтизмъ!* было произнесено. Оно раздалось выстрѣломъ.

Надо было видѣть, какъ встрепенулся тогда старикашка классицизмъ отъ дремы на своей мозаикѣ, источенной червями. «Къ перу! къ перу!» возопіялъ онъ гласомъ велікимъ, и наточивъ указку, потащился въ бой съ романтиками. Должно признаться, что безкровный бой этотъ былъ очень смѣшонъ. Старики не постигали древнихъ; молодежь толковала о новыхъ писателяхъ по наслышкѣ. Одни задыхались подъ ржавыми латами, другіе не умѣли владѣть своимъ духовнымъ ружьемъ.

Стыдно, право, упоминать что писали тѣ и другіе въ обвиненіе другъ друга! Но молодежь между тѣмъ понемножку училась, кой-что вычитала — а старички наши только упирались; конецъ можно было предвидѣть: фарфоровый Голіаѳъ брякнулся о земь,

«И весь . . . ща тамъ образъ напечаталъ.»

Майковъ.

Романтизмъ побѣдилъ, идеализмъ побѣдилъ, и гдѣ-жь было воевать пудрѣ съ порохомъ? Но не будемъ сомолюбивы. Не наши силы, не наши познанія были виною такой побѣды — далеко нѣтъ! Насъ выручило время, единственный въ свѣтѣ старикъ безъ предразсудковъ, старикъ, который вѣчно балуетъ молодежь, и шалитъ съ нею за одно. Мы не приняли романтизма, но онъ взялъ насъ съ боя, завоевалъ насъ какъ Татары, такъ что никто не зналъ, не вѣдалъ, откуда взялись они? Онъ скитается между нами, этотъ вѣчный Жидъ; онъ уже строитъ свои фантастическіе замки — а мы все споримъ, существуетъ-ли онъ на свѣтѣ, и вѣроятно не ранѣе повѣримъ, что онъ получилъ Русское гражданство и княжество, какъ прочитавъ это въ Гамбургскомъ Корреспондентѣ.

Вмѣстѣ съ появленіемъ у насъ Германской мечтательности и Англійскаго сплина, еще пожаловалъ на святую Русь нежданный, но милый гость: я говорю объ историческомъ романѣ. Геній Валтеръ-Скотта угадалъ домашній бытъ и вседневный укладъ рыцарскихъ временъ, точно такъ-же какъ Гиббонъ постигъ ихъ бытъ политическій, какъ Нибуръ выкопалъ Римъ царей изъ-подъ тройной лавы консульства, императорства и папства. Да, Вал-

теръ Скоттъ спрыснулъ ихъ живой водой своего творческаго воображенія, дунулъ имъ въ ноздри, сказалъ: живите — и они ожили, съ румянцемъ жизни на щекахъ, съ біеніемъ дѣйствительности въ груди. Это не выходцы изъ могилъ, съ прахомъ тлѣнія на темѣ, не тѣнь Саула въ общемъ смертномъ мундирѣ, т. е. въ саванѣ; напротивъ, это живые люди, съ ихъ мелкими страстишками, съ ихъ повѣрьями, съ ихъ обычаями, съ любимыми ихъ приговорками. Онъ распахнулъ передъ нами старину, но не ее подвинулъ къ намъ, а насъ перенесъ въ нее, заставилъ насъ любить, драться, буянить, пить, трусить вмѣстѣ съ своими героями и за своихъ героевъ. Конечно, въ таможенномъ значеніи слова, Вальтеръ Скоттъ не романтикъ по предмету, но онъ романтикъ по изложенію, по формамъ, по Стерновскому духу анализа всѣхъ движеній души, всѣхъ поступковъ воли. Онъ не говоритъ какъ идеализмъ: *почему?* Но онъ говоритъ *потому* и *потому-то*. Самая точка воззрѣнія на старину доказываетъ, что онъ поэтъ — этого довольно. Поэтъ въ нашъ вѣкъ *не можетъ не быть* романтикомъ.

Континентальная система, запиравшая Европу отъ Англіи, рухнула вмѣстѣ съ Наполеономъ и въ литературномъ отношеніи. Но за-

кому равновѣсія гидростатики, Англійская и Нѣмецкая мысленность проявились во Францію, какъ скоро опалъ вихорь, мѣшавшій имъ придти въ уровань. Бурунъ отъ этого тройственнаго боренія былъ страшный, потому что подъ именемъ романтизма и классицизма тамъ сражались политическія и религіозныя партіи. Сила, соединенная съ убѣжденіемъ, рѣшила бой тамъ; въ этомъ наше дѣло сторона; но забудемъ-ли, что мадамъ Сталь первая ввела въ гостиную Франціи Германскую музу, а Валтеръ Скоттъ заманилъ Французовъ въ знакомство съ Шекспиромъ, разлакомилъ ихъ своими досказаніи къ исторіи и внушилъ Европѣ его романтическую лѣтопись. Однимъ словомъ и наконецъ, Валтеръ Скоттъ рѣшилъ наклонность вѣка къ историческимъ подробностямъ, создалъ историческій романъ, который сталъ теперь потребностію всего читающаго міра, отъ стѣнъ Москвы до Вашингтона, отъ кабинета вельможи до прилавки мелочнаго торгаша.

И вы думаете, что это сдѣлалось людьми и вдругъ?

Montaigne eût dit: que sais-je, et Rabelais peut-être.

V. Hugo.

Я не скажу ни того ни другаго, потому что я думаю иначе, потому что я вѣрю въ то, что обдумалъ . . .

Изыскательность Европейская, осѣдлавъ газъ и паръ, искрестивъ облака и океаны, открыла новые міры и въ области мышленія и въ мысли забвенія. Чѣмъ далѣе проникалъ взоръ ея туманъ будущаго, тѣмъ вѣрнѣе, тѣмъ глубже могъ онъ проницать и въ минувшее . . . Зрѣніе расширяется во всѣ стороны; это законъ природы. Нибелунги, благодаря кропотливости, освободились изъ подземелья Сенъ-Гальскаго монастыря. Обновилась Эдда Скандинавовъ; нашелся Артусъ и другія Карловингскія поэмы. Геберъ открылъ Индійскую Иліаду, а Карей, Шези, Козегартенъ, Вильсонъ растолковали ее. Мы Русскіе выкопали свою прелестную жемчужину: пѣснь о полку Игоревѣ . . . Могъ-ли-же Русскій свѣжій народъ быть чуждъ этого движенія? Могъ-ли онъ не подумать объ исторіи, онъ, который такъ славно, такъ безкорыстно работалъ для исторіи? Карамзинъ заохотилъ насъ къ преданіямъ нашей старины; археологическія попытки собрали кой-какіе элементы для романа. Историческія повѣсти Марлинскаго, въ которыхъ онъ, сбросивъ путы книжнаго языка, заговорилъ живымъ Русскимъ нарѣчіемъ, служили дверь.

ми въ хоромы полнаго романа . . . Любопытство было напряжено тѣмъ сильнѣе, что Пушкинъ только дразнилъ его главами Онѣгина, что на театрѣ не было ничего, кромѣ битыхъ, перебитыхъ водевилей съ Французскаго, только изъ учтивости называемыхъ двусмысленными. И вотъ выискался наконецъ человѣкъ, который рѣшился прыгнуть въ разверстую пасть крокодила — *публики*. Это былъ Булгаринъ.

Г. Булгаринъ исполнилъ этотъ подвигъ такъ же удачно какъ смѣло. Зависть, возбужденная его *Димитріемъ Самозванцемъ*, доказала, что въ немъ были достоинства; но скажемъ правду: въ немъ онъ подарилъ насъ Европейскимъ, не Русскимъ романомъ. Трудъ его, конечно, заслуживаетъ одобреніе современниковъ, но едва-ль врѣзется въ память потомства, отъ того что авторъ не постигъ духа Русскаго народа, не доглядѣлъ того, что не народъ, а вельможи подкопали тронъ Годунова; что не любовь къ Рюриковичамъ, а зависть бояръ къ власти недавняго товарища была причиной успѣховъ Димитрія. Не Русь, а газетную Россію изобразилъ намъ онъ. Мастеръ въ живописи подробностей, естественный въ Теньеровскихъ сценахъ, онъ натянутъ тамъ, гдѣ дѣло идетъ на чувства, на сильныя вспышки

страстей. Характеръ Годунова очерченъ, характеръ самозванца не выдержанъ, а государственные люди его черезъ чуръ просты и трусливы: имъ-ли быть совѣтниками или врагами царей, главами заговорщиковъ, виновниками переворотовъ! Потомъ, онъ слишкомъ романизировалъ похожденія своего героя и прибѣгъ къ чудесному, очень уже изношенному, заставивъ колдунью пророчить Годунову самымъ пошлымъ образомъ надъ змѣями и жабами, которыхъ (между нами будь сказано) не найдти въ мартѣ мѣсяцѣ ни за какія деньги. Въ *Петрѣ Выжигинѣ* историческая часть вовсе чахотна. Увѣрять, что Наполеонъ пошелъ въ Россію, обманутый Коленкуромъ, будто его примутъ съ отверстыми объятіями, можно было въ 1812 году, не позже; да и тогда этимъ слухамъ вѣрили только на гостиномъ дворѣ. Въ подобномъ тонѣ писаны почти всѣ портретныя сцены съ Наполеономъ, а Наполеонъ занимаетъ въ *Выжигинѣ* болѣе мѣста, чѣмъ самъ герой повѣсти. Русскихъ едва видно, и то они теряются въ возгласахъ или падаютъ въ карикатуру. Впрочемъ, ошибочные въ цѣломъ, романы Булгарина въ частностяхъ носятъ отпечатокъ даровитаго юмора, и многія изъ лицъ его обратились въ пословицу. Мы обязаны ему благодарностію за про-

буждение въ Русскихъ охоты къ родными историческимъ романамъ. Онъ первый прошелъ по скользкому льду: мудрено-ли, что стезя его малучиста? Теперь ступайте! . . .

Призывъ не остался напрасенъ. Явился Загоскинъ, и съ первой попытки догналъ Булгарина, хотя онъ далеко не оправдалъ заносчивыхъ титуловъ своихъ романовъ: «Милославскій или Русскіе въ 1612 году» — «Рославлевъ или Русскіе въ 1812 году»! Неужели три, четыре черты составить могутъ картину? Неужели пара помѣщиковъ, да пары двѣ офицеровъ, да одинъ уголокъ траншеи подъ Данцигомъ, могутъ дать полное понятіе о Русскихъ, о войнѣ громоваго 1812 года? Помилуй Богъ! Въ истинѣ мелкихъ характеровъ и быта Руси, онъ превзошелъ автора *Самозванца* — ни сколько во взглядѣ на событія. При томъ, чужеземная подѣлка не спряталась у него подъ игривостью Русскаго языка. Его Юрій — метампсихоза Валтеръ Скоттова Вевердея. Его попъ-партизанъ — Испанскій Эмпечинадо; его Зарядьевъ — капитанъ изъ романовъ Купера; даже героиня любви *Рославлева* вспѣнена изъ двухъ стиховъ трагедіи *Освобожденная Москва:*

Она жила и жизнь окончила для Вьянка:
Да тако всякая погибнетъ Россіянка!

Словомъ, нѣтъ въ немъ ничего необыкновеннаго, поразительнаго, но увлекательнаго много, но забавнаго много, и вы не увидите, какъ дочитались до конца, и вы досадуете, зачѣмъ такъ скоро перестаетъ онъ ваше удовольствіе.

Потомъ, романы: *Дочь купца Жолобова*, и *Калигадали*, г. Калашникова, столь богатые картинными описаніями Сибири, потомъ *Стрѣльцы*, и *Черный монахъ*, г. Масальскаго, столь драгоцѣнные, по матеріаламъ, объясняющимъ любопытнѣйшую эпоху нашей исторіи, доказали, сколь безсильно самое дарованіе, убитое подражаніемъ. Одинъ только сочинитель *Послѣдняго Новика*, не смотря на прытучій слогъ свой и на двойную путаницу завязки, умѣлъ стать самобытнымъ, умѣлъ избѣжать укора за вербовку подробностей историческихъ, ожививъ ихъ горячею игрою характеровъ. Впрочемъ, не смѣю судить о цѣломъ, не читавъ послѣдней части *Послѣдняго Новика*. Умалчиваю о сборникѣ всякой всячины, выданномъ подъ заглавіемъ: *Шемяка*, и другихъ подобныхъ ему романахъ; изъ нихъ отрывки вѣщуютъ, каковы они выльются; но я радъ, что всякой герой находитъ себѣ у насъ по писальщику, и всякой писальщикъ публику по себѣ. Пускай читаютъ хоть Александра Ор-

лова — это все таки лучше нежели злословить, бездѣльничать или переметывать карты.

Между тѣмъ какъ Пушкинъ воздвигалъ пирамиду въ пустынѣ нашей поэзіи (я говорю объ его *Годуновѣ*), Н. Полевой, который съ такимъ пылкимъ самоотверженіемъ посвятилъ себя правдѣ и пользѣ Русскаго просвѣщенія, который такъ смѣло и неутомимо наѣзжалъ на заповѣдныя имена, на завѣтныя наши ничтожества въ печатномъ мірѣ, и сводилъ насъ не на шапочное знакомство, а на пріязнь съ Европейцами — Полевой издалъ 3 тома своей *Исторіи Русскаго Народа*. То уже не былъ златопернатый разсказъ Карамзина, но повѣствованіе пернатое свѣтлыми идеями. Не изъ толпы, и не съ приходской колокольни смотрѣлъ онъ на торжественный ходъ вѣковъ, но съ выси горъ. Взоръ его проникалъ въ сердце народовъ, обнималъ все кристалище человѣчества. Онъ вызывалъ на неумытный судъ недостойныхъ изъ толпы прославленныхъ, и обрывалъ съ нихъ незаслуженное сіяніе лучъ по лучу; за то съ горячностію провелитъ сдувалъ онъ черную пыль клеветы съ чела праведниковъ, брошенную на нихъ пристрастіемъ современниковъ или ошибками позднѣйшихъ историковъ. Напутствуемый Барантомъ, Тьерри, Нибуромъ, Савиньи, онъ дорывался смыслу не въ сло-

вахъ, а въ событіяхъ; рѣшилъ не по замысламъ, а по слѣдствіямъ; словомъ, подарилъ насъ задатками исторіи, достойной своего вѣка. Эта-то самая современность, съ ея забіячливою походкою, съ ея подозрительною ощупью, съ ея отрывистою рѣчью, кинулась въ глаза нашей посредственности, не золотой, даже не золоченой посредственности, которая не только не успѣвала за временемъ да и не думала равняться ему хоть въ затылокъ. Все зашевелилось. Университетскій колокольчикъ пріударилъ въ набатъ. Зашипѣли кислыя щи пузырныя, и всѣ, которыхъ задѣвалъ Полевой своею искренностію, расходились на Французскихъ дрожжахъ. Зѣло Русскіе и полу-Нерускіе подали другъ другу руки, и, припавъ за имя Карамзина, начали шириться побранками. Полевой отвѣчалъ новыми услугами за новыя насмѣшки. Ему вспало на умъ: досказать Русскую исторію — повѣстью, ознакомить насъ съ домашнимъ бытомъ предковъ нашихъ безъ прикрасъ, такъ сказать, показать подобой княжеской мантіи, распознать крестьянина, растворить умъ и сердце Русскаго народа, и застать тамъ причину событій въ едва замѣтномъ зернѣ. Онъ набралъ слова Вите: «Это не театральная пьеса, это историческія событія, представленныя подъ

формою драмы, но безъ требованія на драму» — своимъ девизомъ. Вслѣдствіе этого онъ написалъ сперва повѣсть: *Симеонъ Кирдяпа*, и теперь *Клятву при Гробѣ Господнемъ*, Русскую быль XV-го вѣка.

Мысль была счастливая. Элементовъ (не скажу матеріаловъ) для воплощенія этой мысли — множество, вопреки мнѣнію многихъ грамотѣевъ нашихъ, будто созданіе историческаго романа, или живописи историческихъ сценъ, на Руси невозможны. О, конечно невозможны, если палитрой вашей будутъ однѣ харатейныя и полууставныя граматы, если вы не омочите кисти въ сердце Русское, если вы не умѣете зажечь взоромъ вашимъ мертвыя буквы! если ухо ваше не можетъ подслушать вздоха старины и по этому вздоху угадать страсть ея!! Мы видѣли, какъ всякое событіе давало свою особенную грань и характеръ и словесностямъ народовъ; ужели-жъ мы одни даромъ прожили вѣка? ужели роковые перевороты надъ нами таяли какъ вешніе снѣга безслѣдно? Или князья наши не имѣютъ для насъ никакой занимательности отъ того, что они читали *Отче нашъ*, а не *Pater noster*? отъ того, что жили въ деревянныхъ дворцахъ, а не въ плитныхъ замкахъ? Или крестьяне наши были живописнѣе Европейскихъ рабовъ, робче ихъ,

бѣднѣе ихъ? — Я думаю совсѣмъ напротивъ. Русь была отчуждена отъ Европы, не отъ человѣчества, и оно при подобныхъ Европейскихъ обстоятельствахъ выражалось подобными-же переворотами. За исключеніемъ крестовыхъ походовъ и реформаціи, чего у насъ не было, что было въ Европѣ? А сверхъ того, характеры князей и народа долженствовали у насъ быть ярче, самобытнѣе, рѣшительнѣе, потому что человѣкъ на Руси боролся съ природою болѣе жестокою, со врагами болѣе ужасными, чѣмъ гдѣ либо. Двуличный Янусъ — Русь глядѣла вдругъ на Азію и Европу; бытъ ея составлялъ звѣно между осѣдлою дѣятельностію Запада и бродячею лѣнью Востока. Отъ того, какое разнообразіе вліяній и отношеній! Варяги на ладьяхъ покоряютъ ее. Печенѣги, Половцы, черные Клобуки зубрятъ ея границы. Грозой налетаетъ Русь на Царьградъ и завоевываетъ въ Корсуни христіанскую вѣру. Вольный Новгородъ опоясывается хребтомъ Урала и бьется съ Божьими дворянами до Ливляндіи; напираетъ на Свѣйцевъ за Невою, рѣжется съ Литовцами, возитъ свои товары въ города Ганзы. И потомъ битвы между-усобій, и потомъ губительное нашествіе Татаръ, и душная ночь ихъ власти, и въ мракѣ ея сѣмя единодержавія. И потомъ

войны съ шумными Поляками, съ дикими Литовцами, Іоаннъ Грозный, попытка обратить насъ въ католичество, мятежи Самозванцевъ, и мудрый Алексѣй, и необъятный Петръ! Да, это море-окіянъ!... море еще неизженное, неизвѣданное, и тѣмъ болѣе занимательное, оригинальное. Вглядитесь въ черты князей нашихъ, сперва исполинскія, потомъ лишь удалыя, потомъ уже коварныя, и скажите, чѣмъ хуже они героевъ Валтеръ Скотта или Виктора Гюго, для романа? У нихъ, какъ вездѣ, былъ свой махіавелизмъ для силы и для безсилія, были свои ковы и оковы, и ядъ подъ ногтемъ, и ножъ подъ полою. У нихъ были свои льстецы-предатели, свои вельможи-дядьки, свои жены царь-бабы, свои братья-Каины. Про нихъ звучали струны пѣвцовъ, про нихъ звонили колокола монастырей. И они гордились породою, какъ электоры на священную имперію; а на охотѣ съ соколами, на звѣриной травлѣ, конечно были удалѣе любаго барона, потому что такого раздолья для скачки, такого приволья на дичь, какъ на Руси, и во снѣ не видали Европейскіе наладины. И они пировали не менѣе шумно и весело, чѣмъ вожди клановъ, и они лазили черезъ тынъ къ боярынямъ какъ Французскіе сеньоры, имѣли свои моды, свое остроуміе, свой особый языкъ.

Суровость зимъ, бездорожье и даль давали средства Удѣльнымъ князьямъ непокорничать Великому, воевать сосѣднихъ и сгонять другъ друга съ *отня стола*. Беспрестанныя стычки съ кочевыми наѣздниками и войны между-усобій закаливали ихъ нравы опасностями, давали храбрость, а храбрость разжигала честолюбіе. Они жаждали битвъ для славы, славы для власти. Далѣе, какой богатый источникъ для романиста — мѣстничество бояръ и дворянъ, которые сперва могли переходить отъ одного князя къ другому безъ предосужденія, ихъ мелкія ссоры, ихъ могущее вліяніе! За ними Дворъ и дворня, гридни и наемныя дружины княжія. Да и черный народъ нашъ (кромѣ рабовъ), смерды, людины, крестьяне, мѣстичи, безъ сомнѣнія долженствовалъ быть гораздо смышленѣе сервовъ Среднихъ Вѣковъ. Они не составляли части земли: они имѣли свои сходки, они ходили на войну съ князьями, чего не было въ Европѣ. Притомъ, борьба съ природою и съ враждебными обстоятельствами, необходимо развивала ихъ физическія и нравственныя силы. Принужденный дѣлать для себя все, начиная отъ лаптя до шлема, отъ горшка до колеса, Русакъ становился изобрѣтателемъ и самонадѣянъ. Оставленный собственнымъ силамъ въ глуши лѣ-

совъ, въ болотахъ, въ сугробахъ снѣга, онъ сталъ отваженъ и находчивъ. Неувѣренный, что завтра принадлежитъ ему, онъ сдѣлался лѣнивъ и беззаботенъ. Но онъ не былъ низокъ, ибо не терпѣлъ униженія наравнѣ съ вассалами Европы.

Ни рвы, ни башни не дѣлили ихъ между собою. Жалобы селянина доступны были боярину, и бытъ боярина, простой почти столько-же какъ бытъ селянина, не давалъ повода первому презирать послѣдняго, ни послѣднему ненавидѣть перваго. Правда, войны сметали ихъ разъ по пяти на вѣку... За то они сами, въ набѣгахъ съ княземъ своимъ, вымещали на врагахъ то, что терпѣли дома, участвуя въ грабежѣ и въ дѣлежѣ. Толки: *мы сбили, мы рѣшили*, ушѣшали ихъ въ неудачѣ, и бѣдняги эти крѣпко засыпали голодные, свернувшись въ бараній рогъ на пеплѣ и на морозѣ, но убаюканные надеждою на добычу, на клады, на какое нибудь чудо — а Русскій вѣрилъ чудесамъ, любилъ чудесное наравнѣ съ смѣшнымъ, потому что первое золотило ему будущее, второе подслащало настоящее. Каждый перекрестокъ имѣлъ тогда свою легенду, каждый прудъ своего духа, каждый лѣсъ разбойника, каждая деревня колдуна, каждый базаръ сказочника. Чудесное бѣгало тогда по

улицамъ босикомъ, пріѣзжало изъ за-моря гостемъ, стучалось подъ окномъ посохомъ паломника. Оно совершалось на яву и во снѣ... Могучіе народы набѣгали и изчезали, не оставивъ даже своего имени вѣтру степному. Славные князья бродили между чернью нищими, или тлѣли въ тюрьмѣ безъ очей. Ничтожные бояре правили судьбами княженій, простые чернецы становились владыками. Мудрено-ли-жь, что добрые предки наши жадно слушали о томъ, какъ чортъ попался въ рукомойникъ, о блаженныхъ Макарійскихъ островахъ, о странахъ при-Гишпанскихъ, гдѣ народъ Нѣмцы и торгуютъ райскими птицами, о людяхъ съ собачьимъ рыломъ или съ рыбьимъ хвостомъ, объ оленяхъ съ финиковымъ деревомъ между роговъ... Этнографія, географія, исторія, все тогда было сказка, а сказка значила повѣсть, потому что правда тогда была бланецъ выдумкѣ. Находились люди, у которыхъ на памяти Полкенъ богатырь дрался съ Добрыцею, а у Пересвѣта, не то на крестинахъ не то на поминкахъ, ѣли они кашу. А мертвецы, а привидѣнія, а знахари, а вѣдьмы наши? вѣдьмы, которыхъ ягли тогда такъ-же равнодушно, какъ теперь фейерверки! А домовые и лѣшіе, вовсе не родня гамадріадамъ, точащимъ кровь подъ сѣкирою, или дивамъ

получеловѣкамъ — нѣтъ, они воздушны, невещественны, проказливы какъ Пукъ и Аріель Шекспира, какъ Трильби Нодье. Да и что за богатое, оригинальное лицо самъ чортъ нашъ! Онъ не Демонъ, не Ариманъ, не Шайтанъ, даже не Мефистофель — онъ просто бѣсъ, безъ всякихъ претензій на величіе. Онъ гораздо добрѣе всѣхъ ихъ. Онъ большой балагуръ, онъ отчаянный рѣзвецъ, и порой бываетъ проще Пошехонца, такъ что лукавцы надуваютъ лукаваго во всѣхъ сказкахъ, хоть, правду сказать я думаю, они немножко хвастаютъ. Берите-жь, ловите за крылья всѣ причуды, всѣ повѣрья старины, и пустите ихъ роемъ около лицъ, вами избранныхъ, какъ роились они прежде. Предразсудки — прелесть старины, какъ прелесть нашего вѣка — фантазія. Предразсудки кипятили старину, какъ насъ кипятитъ разсудокъ: пустите-жь ихъ работать — и ради Бога не дѣлайте своихъ героевъ такими умниками, будто они сей часъ выскочили изъ экзамена на доктора философіи. Мало вамъ бѣса, мало вамъ страховъ такъ вотъ смѣшное (утѣха нашей старины и рычагъ новой словесности) вертится передъ вами на одной ножкѣ скоморохомъ, и заводитъ безконечную сказку свою отъ Сивки отъ Бурки, отъ курицы иноходицы, отъ поросенка наступ-

ника. Казакъ Луганскій показалъ, какъ занимательны могутъ быть эти простые цвѣтки Русскаго остроумія, свитые искусною рукою. Но Вельтманъ, чародѣй Вельтманъ, который выкупалъ Русскую старину въ романтизмѣ, доказалъ, до какой обаятельной прелести можетъ доцвѣсть Русская сказка, спрыснутая мыслію. Да, пѣсня и сказка душа Русскаго народа: онъ веселится и горюетъ съ пѣснею, засыпаетъ подъ говоръ сказки. У князей бы-би Баяны, Ураны, Митусы — у черни Кирши Даниловы, сказочники, слѣпцы, скоморохи, пѣвцы, которые умѣли и растрогать и разсмѣшить до слезъ, все величать и все пародировать. Умѣли уколоть шуткою и князя и боярина, и попа . . . Отличительная черта Русскаго простолюдина, что онъ никогда не былъ изувѣромъ и не смѣшивалъ Вѣры съ служителями Вѣры; благоговѣлъ предъ ризою, но не предъ рясою, и рѣдкая смѣшная сказка или пѣсня обходится у насъ безъ попа или чернеца. Еще есть у насъ стихія, драгоцѣнная для историческаго романа: это дураки и шуты. Съ тѣхъ поръ какъ нагую правду выгнали изъ дворца за безстыдство, она прикинулась баснею и шуткою . . . спряталась подъ ослиное сѣдло, запрюкала, запѣла кукареку, покатилась колесомъ, заломила на бекренъ дурацкую шап-

ку, и стала вмертывать свои укоры между хохота и ударовъ хлопушки. Замѣтьте, что басня и шутовство всегда проявлялись въ Азіи: ихъ отчизна Азія, ихъ спутникъ феодализмъ, и будьте увѣрены, что не случай породилъ шута, а необходимость. Шутъ былъ кривой проводникъ мнѣній народа ко власти, и не рѣдко проводникъ правосудія отъ власти къ народу. Обличитель пороковъ, пересмѣшникъ недостатковъ, онъ не щадилъ ни гостей, ни хозяина, и бичевалъ ихъ намеками, не боясь бичеванья ремнями . . . . . Однимъ словомъ, шутъ-простолюдинъ, приближенный къ князю, былъ что-то похожее на народнаго трибуна въ карикатурѣ. Разсказы, которые ходятъ въ народѣ про Балакирева, шута Петра Великаго, порукой, что можно создать изъ подобнаго лица.

Мало вамъ и этого — предъ вами любовь предковъ вашихъ. Камъ ни изношены у насъ сердца, но запросъ на любовь еще великъ . . . и посмѣйтесь пожалуста тому грамотѣю въ глаза, который скажетъ вамъ, что въ старину мужчины видѣли женщинъ только за налоемъ, что про любовь тогда не было и въ помянѣ. Видно, эти господа никогда не заглядывали въ сердце человѣческое; забыли они, что любовь есть не понятіе, а чувство, свойственное всѣмъ вѣкамъ и народамъ. Спору

нѣтъ, она въ старину была не такъ жеманна и жеманительна, но тѣмъ не менѣе нѣжна и страстна. Спору нѣтъ, предки наши женились черезъ сваху, не *видя* невѣсту; но развѣ мы не женимся *не глядя* на нихъ, изъ разсчетовъ и для приданаго, какъ всегда бывало; а между тѣмъ любовь идетъ своимъ чередомъ. Говорятъ, знать наша запирала женъ и дочерей, особенно со временъ Татарства; но неужели вы думаете, что *замки и стѣны и кинжалы* держатъ любовницъ даже у мусульманъ! Сказки! Тѣмъ паче у насъ, у которыхъ гостепріимный нравъ и самая постройка домовъ тому противится. Переберите наши пѣсни и сказки, и вы убѣдитесь въ томъ.

Вотъ вамъ и вся лѣстница духовной іерархіи, миротворная, рѣдко честолюбивая сверху, невѣжественная и часто забавная снизу. Крилошане и причетники, бѣльцы и монастырскіе крестьяне, все со своимъ чванствомъ, причудами, правами, въ безпрестанномъ столкновеніи съ міранами: толпа своеличная даже до нищихъ, клюкушъ и юродивыхъ, составлявшихъ непремѣнный штатъ каждой церкви! Юродивые занимали то же мѣсто между судьбой и народомъ, какъ шуты между владѣльцемъ и народомъ. Божьи люди эти были облечены неприкосновенностію; ихъ темныя рѣ-

чи принимались за угрозы, за пророчества свыше. Вотъ вамъ и самосудъ-вѣче въ Новѣгородѣ, и примѣрный судъ его съ присяжными, съ объѣздными исудьями, съ поединками, съ Русскою правдою — «поле», котораго до сихъ поръ никто не тронулъ. Вотъ вамъ лобное мѣсто предъ Кремлемъ, съ его правежемъ и гостинодворствомъ. Садитесь на лихую тройку и проѣзжайте по святой Руси: у воротъ каждаго города старина встрѣтитъ васъ съ хлѣбомъ и солью, съ привѣтливымъ словомъ, напоитъ васъ медомъ и брагою, смоетъ, спаритъ долой всѣ ваши заморскія притиранья, и ударитъ челомъ въ напутье какимъ нибудь преданіемъ, былью, пѣсенькой. До сихъ поръ вы видѣли только разнощиковъ, говорили только съ извощиками; теперь увидите бодрый, свѣжій, разноязычный, разнообразный, судя по областямъ, народъ, народъ, который мало измѣнился со временъ Святослава, ибо Татары и Поляки мало имѣли дѣла съ простолюдинами. Купцы торговали съ ними, бояре ползали передъ ними — народъ только рѣзался съ ними или бѣгалъ отъ нихъ, и заплативъ разъ въ годъ черную дань сборщику, послѣ не видалъ его въ глаза*. Въ свою очередь

* Почти всѣ Татарскія слова, оставшіяся въ на-

онъ рѣдко видывалъ и баръ своихъ, всегда собранныхъ около князей или царя и отъ того до сихъ поръ сохранилъ свою поступь, поговорку, свой обычай, обликъ, свой оригинальный характеръ, котораго основаніе: авось; свою безразсчетную предпріимчивость, свое простонародное лукавство, свою страсть ко хмѣлю и къ дракѣ, свой языкъ, столь живописный, богатый, ломкій; словомъ, это народъ, у котораго каждое слово завитокъ и послѣдняя копѣйка ребромъ . . . Но гдѣ мнѣ исчислить всѣ дѣвственные ключи, которые таятся доселѣ въ краѣ Русскомъ! Стоитъ генію тонуть, и они брызнутъ, обильны, исполнены. Смѣшно и указывать ему: Бери вотъ отсюда, сдѣлай то-то; онъ самъ найдетъ, что ему надобно, онъ не пойдетъ справляться съ риторикою или піитикою. . . Словесность не наука, словесность искусство, ибо она творитъ, а не производитъ; а творчеству, а воображенію законъ не писанъ и никогда не напишется. Изящное всегда будетъ правильно. Вотъ почему нелѣпы попытки научить писателей

мемъ языкѣ, принесены на языкѣ и не касаются до коренного быта, напр. фата (фата), серьги (сергиляръ), кушанъ (кульша), изъянъ (зіанъ), могарычъ, тамга. Военные термины заняли мы прежде, у Азіятскихъ кочевыхъ племенъ.

писать; вотъ почему для словесности полезна лишь одна критика, ибо цѣль ея не поправлять автора, а приготовить читателя цѣнить его твореніе. Она не учитъ свирѣлкою соловья пѣть, не учитъ молніи летать какъ бумажный змѣй, а дергаетъ разсѣяннаго охотника за полу и говоритъ ему: Послушай, погляди какъ это прекрасно! Она судитъ не какъ судья, не книгѣ, а какъ присяжный, по совѣсти, положивъ руку на сердце, и даже ошибаясь пріучаетъ васъ судить прямо. Такъ и не болѣе, скажу я свое мнѣніе о были Н. Полеваго; не болѣе какъ такъ. Прочь отъ меня эта самозванная, щепетильная критика, которая до сихъ поръ пропитывается у насъ кавыками и недоглядками, которая съ холоднымъ безчувствіемъ смотритъ на изящное, и щупаетъ его какъ евнухъ, покупающій невольницу на базарѣ. Была-бъ у нея мягкая кожа, была-бы въ ней умная мѣра, а до ума, до души, до выраженія лица, что ему за дѣло! Misére! И она хвалятся этимъ мизеромъ, они выигрываютъ на него!

Г. Полевой схватилъ для своей картины тотъ моментъ, когда Русь стала подымать голову изъ двухъ-вѣковаго рабства. Сквозь туманъ, но блеститъ уже надъ ней звѣзда единодержавія. Выходъ въ Орду еще платится, но власть

сидятъ ужь не на коврѣ хановъ. Удѣльная гидра еще грызется съ царствомъ, но это послѣднія ея попытки. Дѣйствіе начинается въ деревнѣ, не вдалекѣ отъ Москвы, куда тянутся обозы, спѣша къ масляницѣ и къ свадьбѣ молодаго великаго князя Василья Васильевича Темнаго, который сѣлъ на княженіе вопреки правамъ дяди своего Юрія, Дмитріевича, уступившаго первенство меньшому брату, Василію, но только брату по волѣ, племяннику по неволѣ, ибо на Руси искони велось (по праву, не всегда на дѣлѣ), чтобы престолъ наслѣдовать братьямъ, а не дѣтямъ. Вотъ узелъ драмы, хоть онъ вяжется и развивается въ ней иначе и не вдругъ. — Въ избу, въ которой расположились обозники, пріѣзжаетъ, подъ видомъ купца, крамольный бояринъ Іоаннъ. Онъ бѣжитъ изъ Москвы, обиженный отказомъ великаго князя жениться на его дочери, на которой честолюбивый старикъ сосваталъ было его. Выѣзжая съ ночлега, сани его сталкиваются съ санями князей Василія Косаго и Дмитрія Шемяки, дѣтей Юрія, которые скачутъ на свадьбу, въ гости къ великому князю. Послѣ ссоры въ потемкахъ, путники узнаютъ другъ друга, и тутъ-то, вопреки укоровъ Шемяки, начинается ковъ обиженнаго честолюбія въ лицѣ Іоанна, обиженнаго власто-

любія въ лицѣ Косаго. Боярин недотрекаетъ пылкаго князя и негодованіемъ и надеждою. У него въ карманѣ важныя бумаги, у него въ головѣ умные совѣты, у него въ груди месть Василію, который обязанъ престоломъ лишь его происканъ у хана — и все это онъ везетъ съ покорною къ Юріе, котораго заставилъ недавно вести подъ уздцы коня отрока племянника. Они разстаются, одинъ готовый на измѣну, другой на мятежъ. Шемяка упрекаетъ брата, что онъ слушаетъ совѣтовъ крамольника. Тотъ отвѣчаетъ, что онъ обманулъ его притворнымъ вниманіемъ, что онъ только выпѣдывалъ старика.

— *Ты* обманулъ *его*? Но развѣ обманъ не есть уже грѣхъ? говоритъ Шемяка.

— Отмолюсь! смѣясь отвѣчалъ Косой, отряхнувъ шапку свою. Пойдемъ, пора.

Какая рѣзкая черта, и въ отношеніи къ лицу Косаго, и въ отношеніи къ понятіямъ времени!

Въ Москвѣ уже подозрѣваютъ Юрьевичей, и въ то время, когда Косой подбиваетъ удалыхъ изъ князей себѣ въ помощники, Дума бояръ, въ которой хозяйничаетъ мать великаго князя, Софья Витовтовна, Литвинка родомъ, безразсудная самовластница духомъ, рѣшаетъ схватить и заключить въ оковы Косаго и Шемяку, при выходѣ съ брачнаго пира. Вни-

чанье кончено, новобрачные удалились изъ за стола, и хмѣль — это единственное лѣто Русскихъ, развязываетъ всѣ характеры, расплавляетъ тайны. Нетерпѣливая Софья привязывается къ Юрьевичамъ, Косой колетъ ее не въ бровь, а прямо въ глазъ, намекнувъ, что Василій не законный сынъ ея; она забывается до того, что срываетъ своими руками съ него мечъ, и укоряетъ, будто золотой поясъ его — краденый. Немотовая суматоха эта чуть не переходитъ въ битву. Князья разъѣзжаются, мятежъ вспыхиваетъ. Юрій идетъ съ войскомъ на Москву; Дворъ бѣжитъ. И снова племянникъ выгоняетъ дядю, и снова хилый, слабодушный старикъ, опершись о мечи сильныхъ сыновей своихъ, завладѣваетъ Москвою, ссылаетъ племянника на удѣлъ. Но въ послѣдній разъ Кремль распахнулся передъ нимъ гробомъ. Въ тотъ самый день, когда братъ его Константинъ умираетъ міру принявъ схиму, умираетъ и Юрій (оба остальныя отрасли Донскаго), умираетъ на рукахъ Шемяки. Покорный сынъ, Шемяка вскрываетъ духовную отца въ совѣтѣ бояръ, въ отсутствіе брата, но въ ней никто не названъ великимъ княземъ. Великодушный Шемяка провозглашаетъ снова Темнаго. Косой бѣснуется, укоряетъ брата и уважаетъ имѣть себѣ сторонниковъ, чтобы

отбить престолъ у Василія. Шемяка удаляется въ удѣлъ свой Галичъ, какъ-бы въ доводъ того, что не искалъ благодарности, что онъ исполнилъ подвигъ самоотверженія, уважая права наслѣдства. Заѣхавъ въ гости къ князю Заозерскому, въ глушь сѣверныхъ лѣсовъ, онъ влюбляется въ дочь его, сватается, и ѣдетъ въ Москву звать великаго князя къ себѣ на свадьбу. Но подозрительный, неблагодарный Василій, воображая, что онъ за-одно съ Косымъ, велитъ схватить его на дорогѣ обманомъ, и заключить въ тюрьму; потомъ, вдругъ перемѣняетъ политику, чтобы вѣрнѣе погубить легковѣрнаго: мирится съ нимъ, улещаетъ его и даетъ ему пьяный, распутный, непокорный отрядъ, выживать изъ Тулы хана Махмета. Униженный, оклеветанный, обвиненный своими подчиненными въ измѣнѣ, Шемяка узнаетъ, что брату его Василію выкололи глаза по приказу Темнаго, что его самого готовятся схватить для казни . . . Это опрокидываетъ его душу: онъ бѣжитъ въ Новгородъ, гдѣ вѣче, всегдашняя подпора изгнанныхъ князей, наряжаетъ ему войска воевать Москву. Тогда, испуганный Василій присылаетъ къ брату инока Зиновія, чтобы склонить его на примиреніе, чтобъ выпросить у него миръ на всей его волѣ. Убѣжденный, тронутый имъ, Шемяка уступаетъ:

онъ не хочетъ кровопролитія и прощаетъ кровную обиду. Тесть и невѣста его, доселѣ плѣнные въ Москвѣ, объемлютъ его въ Новѣгородѣ — тамъ онъ празднуетъ свою свадьбу, и ѣдетъ въ Галичъ. Были конецъ.

Вотъ главныя событія этой были: но авторъ понялъ что какъ ни точны будь историческія сцены, онѣ падутъ бездушны безъ игры характеровъ; какъ ни рѣзки будь характеры, они не тронутъ читателя, если не оживятся какою нибудь великою мыслію — и вдунулъ въ нихъ самую поэтическую. Онъ обвилъ пружину дѣйствія вкругъ таинственной особы гудочника, который является вездѣ, говоритъ всѣми языками, все знаетъ, всѣхъ навѣдываетъ, всѣхъ подстрекаетъ. То онъ пѣшеходъ на дорогѣ, то онъ паломникъ въ монастырѣ, то онъ гудочникъ и сказочникъ передъ боярами, то почтенный гражданинъ въ Новѣгородѣ. Отрывается нами изъ бесѣды его съ архимандритомъ Симонова монастыря, его прежняго товарища, что онъ далъ обѣтъ умирающему князю своему, стараться возстановить Суздальское княженіе и отдать оное дѣтямъ его. У гроба Господня, въ Іерусалимѣ, обрекаетъ онъ себя страшною клятвою исполнить обѣтъ свой. Съ тѣхъ поръ клятва становится его жизнію, его судьбою. Пусть двадцать разъ разлетают-

съ прахомъ его замыселъ, пусть покидаютъ его друзья — онъ неутомимъ, неудержимъ. Онъ ищетъ новыхъ дѣйствователей, заключаетъ съ ними договоры, возстановитъ Суздаль, подтвердитъ Новгороду его отъятыя прежнія льготы, и съ новымъ жаромъ пускается въ битвы и въ ковы. Какая высокая романтическая мысль была, изобразить человѣка, отдавшаго въ жертву всѣ радости жизни, все честолюбіе свѣта, даже надежду за гробомъ — преданности! Стремясь къ цѣли, онъ топчетъ и людей и совѣсть, обманываетъ, лицемѣритъ, похищаетъ документы, разсылаетъ ложные приказы, вооружаетъ брата на брата . . . но онъ выкупаетъ все это жаркою, безкорыстною любовью къ пользамъ дѣтей своего государя. Онъ возбуждаетъ участіе какъ вольный мученикъ, предавшійся униженію и опасностямъ всѣхъ родовъ, не страшась ни смерти, ни казни. Вспомните, что ему, какъ Новгородцу, не мудрено было враждовать противъ Москвы, и простите его. Вы будете уважать его за неподдѣльную, за непоколебимую твердость, и если не полюбите его, то будете сострадать съ нимъ въ дикой и напрасной борьбѣ, имъ предпринятой — напрасной, ибо онъ замыслилъ побороть время, подъемля изъ ничтожества разбитый

имъ порядокъ удѣловъ; тяжкой, ибо самъ видитъ тщету своихъ думъ и козней. Нѣкоторые журналисты упрекаютъ автора, зачѣмъ онъ заставилъ гудочника говорить книжнымъ слогомъ, въ разсказѣ дѣдушки Матвѣю о политическомъ бытѣ Руси, особенно объ Іерусалимѣ. Но знаютъ-ли эти господа, что для святыни и для учености у насъ до сихъ поръ, между священниками, семинаристами и набожными людьми, ведется особый, книжный языкъ? Мы должны писать какъ говоримъ, но въ старину грамотѣи любили говорить какъ писали. Прочтите разговоръ гудочника съ Вороѳоломеемъ и послѣдній съ Шемякою, и если онъ не разогрѣетъ у васъ сердца, и если вы и тогда въ состояніи будете ловить кавыки — ступайте пилить сандалъ или ноги, но ради Бога не беритесь судить поэзіи.

Другая властительная мысль автора (если не ошибаюсь) была та, чтобъ оправдать Шемяку, запятнаннаго въ народѣ худо понятою пословицею, очерненнаго историками на поруку худо переведенныхъ лѣтописей. Съ благороднымъ жаромъ, защитникъ Мстислава Удалаго, вырываетъ Шемяку изъ челюстей клеветы. Но онъ не изображаетъ его идеаломъ. Его Шемяка юноша съ откровеннымъ, прямымъ сердцемъ, съ кипучею душею, съ не-

проникнутъ желанiемъ добра своему отечеству; но обстоятельства вовлекаютъ въ него потоки измѣнъ съ этихъ сторонъ, и насильно увлекаютъ въ крамолы и мятежи брата. Онъ готовъ на миръ и дружбу со врагами, но онъ гордъ какъ Русскiй князь, онъ покоренъ отцу, онъ любитъ брата. Свой своему за неволю другъ, говоритъ пословица — вотъ разгадка его дѣйствiй сначала, но потомъ самоотверженiе его запечатлѣно религiозною печатью, какъ у художника; не клятва облегчила его душу, не чужое мнѣнiе движетъ его — напротивъ, онъ идетъ наперекоръ всѣмъ отъ того, что оно бьетъ прямо изъ сердца . . . . Его проступки принадлежатъ вѣку, его доблести человѣку. Какъ онъ спокоенъ въ бѣдѣ; какъ незаносчивъ при успѣхѣ! Какъ увлекателенъ онъ во вдохновенной бесѣдѣ съ Исидоромъ, увлеченный пророческими мечтами этого Грека; какъ грустно глубокомысленъ при постриженiи князя Константина; какъ великъ, возглашая врага своего великимъ княземъ, по праву, на обломкахъ надежды Косаго, всѣ личныя выгоды, всѣ семейные замыслы! . . . . Какъ недостижимо великодушенъ онъ, прощая Василiю, когда Новогородскiя дружины рвутся уже мстить за его обманы и обиды! Напрасно думаютъ, будто бы такiе эксцентрическiе исключительные харак-

горы были невозможны въ среднихъ вѣкахъ. Всѣ знаютъ, что духовныя книги были единственнымъ чтеніемъ лучшей молодежи; а духовныя книги отвергаютъ отъ земли, проповѣдуютъ самоотверженіе, ставятъ правду всего превыше. Не могли развѣ они сѣмена добра прозябнуть въ сердцѣ, болѣе другихъ нѣжномъ? Притомъ, наконецъ необходимо пріучала людей мыслящихъ, или глубокимъ чувствомъ одаренныхъ, заранѣе допрашивать душу свою для бесѣды съ Богомъ, рыть въ ней, слѣдить ее, судить ее, и смотрѣть на предметы духовнымъ образомъ. Въ противоположность добросклоннаго Шемяки бросается въ очи Василій Косой, съ его безпамятнымъ честолюбіемъ, съ его безразсудною отвагой, съ его дикими страстями. Косой есть настоящій типъ нашихъ князей, дѣйствовавшихъ во время смутъ, какихъ нибудь Ольговичей напримѣръ, у коихъ сердца были закалены въ буряхъ. Покой душитъ его; крамолы, битвы ему воздухъ. Однако не смотря на его запальчивость, которая доводитъ до того, что онъ собственною рукою убиваетъ отчаго любимца боярина Морозова, невольное вниманіе ложится на читателя съ его призракомъ, будто холодная тѣнь съ дворцовой башни.

Злой дьякъ, совѣтникъ его, бояринъ Іоаннъ

отдѣланъ *con amore*. Онъ широко развиваетъ свитокъ своего Русскаго, макіавелизма, смѣси дерзости междоусобій съ жестокимъ пронырствомъ татарства, когда уже князья привыкли сражаться не желѣзомъ, а пергаминомъ; когда они хвалились не тѣмъ, кто кого перескакалъ, а кто кого переполовъ. Горькая истина говоритъ его устами, когда онъ перебираетъ по пальцамъ наличную Русь и высказываетъ собой ходячую нравственность Руси.

Зо то характеръ великаго князя обрисованъ слабо. Трудно провидѣть въ немъ — Василія, съ именемъ Темнаго, съ темными дѣлами, съ властолюбіемъ, которое хорошо понимало и удачно душило удѣльную систему.

Между второстепенныхъ лицъ особенно замѣтны дѣдъ Матвѣй и подъячій Бѣда. Намъ еще и нынѣ могутъ встрѣтиться, въ классѣ прасоловъ, характеры подобные Матвѣю, у которыхъ трудолюбіе и смышленность наравнѣ съ правотою, добротою; характеры утѣшительные, истинно Русскіе. Но конечно въ дипломатахъ нашихъ уже не отыщемъ мы Бѣды, этого образца старинныхъ дьяковъ и окольничихъ, мелочныхъ до пустоты и твердыхъ до тройства. Взгляните на этого Бѣду: онъ также хладнокровно убираетъ скамьи въ сѣняхъ, какъ бросаетъ договорныя граматы къ

ногамъ Юрія, съ опасностію жизни. Невинное лицо Димитрія Краснаго — отрадно. Онъ болѣнъ жизнію; онъ звѣзда, упавшая съ неба и тонущая въ грязномъ омутѣ чужихъ сваръ. Юрій занимательный образчикъ запоздалыхъ суелюбцевъ, къ коимъ честолюбіе приходитъ съ кашлемъ; которые живутъ чужимъ умомъ, дѣйствуютъ чужею волею; у которыхъ доброта не доблесть, а слабость; у которыхъ самое преступленіе не злодѣйство, а слабость. Хронологическій порядокъ событій (ему-же неизмѣнно служилъ по обѣту своему авторъ) не далъ разгулу драматичности, но событія хорошо вправлены въ подробности стариннаго быта, и изъ нихъ всѣхъ любопытнѣе, ибо всѣхъ новѣе, описаніе Москвы того времени и *третей княжихъ*, столь сходныхъ по расправѣ съ расправою древняго Парижа. Но барельефъ, изображающій вѣче, блѣденъ и не полонъ . . . Вообще должно признаться, что поспѣшность автора вести далѣе и далѣе, захватывая на дорогѣ то и сё, много вредитъ участію. Не успѣешь погрѣться у огонька чувства — тебя вдекутъ впередъ; срываютъ слезу для усмѣшки, отводятъ отъ окна для картинки. Будьте, господа сочинители историческихъ романовъ, поскупѣе на подробности житейскаго быта, и всего болѣе, не волочите

ихъ на армякъ въ ремонтъ свой. Пусть они будутъ попутчики, а не колодники ваши, и если уже необходимо обставить сцену декораціями, то расцвѣтите ихъ цвѣтами слога. Новы предметы — сдѣлайте ихъ оригинальными. Стары они, обновите ихъ мыслями, оборотите ихъ не затасканною стороною, взгляните на нихъ съ нетоптанной точки, и повѣрьте, что всякой горшокъ тогда найдетъ свою поэзію... Свидѣтели тому: Гоффманъ, Вашингтонъ Ирвингъ, Бальзакъ, Жаненъ, Гюго, Цшокке. Несноснѣе всего мнѣ писаки, заставляющіе насъ цѣликомъ глотать самые пустые разговоры самыхъ ничтожныхъ лицъ, равно въ шинкѣ Жида и въ гостиной знатнаго барина; и все для того, чтобъ сказать: *Это съ природы!* Помилуйте, господа! развѣ простота пошлость? Развѣ для того бѣжимъ мы въ ваши альманахи отъ прозы общества, чтобы встрѣтить въ нихъ ту-же скуку? Природа! Послѣ этого, тотъ, кто хорошо хрюкаетъ поросенкомъ, величайшій изъ виртуозовъ, и фельдшеръ, снявшій алебастровую маску съ Наполеона, первый ваятель!! Искусство не рабски передразниваетъ природу, а создаетъ свое изъ ея матеріаловъ. Неоспоримо, связочныя сцены необходимы: это примѣчанія, поясняющія текстъ; но выкупаютъ-же ихъ замысловатостію своею, если не лѣзя

дать ея предметамъ и лицамъ. Да и кто говоритъ что этого не льзя? Дайте намъ не условный міръ, но избранный міръ. Пусть нашъ пастухъ будетъ Гуртъ, нашъ капралъ Тримъ, нашъ вѣтренникъ донъ-Жуанъ — но все это въ Русскомъ тѣлѣ, въ Русскомъ духѣ. Наши Иваны Гуртовичи, наши Кремневы Тримовичи, наши Лидины Жановичи, дряхлы. Пусть всякой сверчокъ знаетъ свой шестокъ; пусть не залетаютъ настоящія мысли въ минувшее, и старина говоритъ языкомъ ей приличнымъ, но не мертвымъ. Такъ-же смѣшно влагать неологизмы въ уста ея, какъ и прежнее наречіе, потому что первыхъ не поняли-бы тогда, втораго не поймутъ теперь. Въ этомъ отношеніи, языкъ разбираемой нами былъ очень не ровенъ. То онъ не выдержанъ по лицамъ, то по времени. Слогъ порою тяжелъ и запутанъ, и лишь тамъ, гдѣ говорятъ возвышенныя чувства, разгаряется онъ до краснорѣчія. Такова бесѣда съ Исидоромъ, таково послѣднее свиданіе съ гудочникомъ. Я вырву два маленькіе клочка, хорошо выражающіе гнѣвъ и любовь Шемяки. — Отъ него посолы великаго князя, требуютъ, чтобы онъ воевалъ противъ роднаго брата — онъ выходитъ изъ терпѣнія: — Открыто, прямо говорилъ и дѣлалъ я, еще-ль не убѣжденъ въ этомъ князь великій? Зачѣмъ-же хитрить со мною? Или вы почита-

его жена за такого олуха Царя небеснаго что я не замѣчу хлѣба въ печи и стану ее топить? Иль ты хочешь, чтобы я, отдавши все великому князю, своими руками принесъ голову роднаго моего брата, и кровью его запилъ дружбу съ Москвою, позоръ мой и униженіе!

Предчувствую, что при словѣ *олухъ*, наши чопорные критики вопзятъ по крайней мѣрѣ три восклицательные знака, какъ будто три отбитыхъ бунчука! Никто не помѣшаетъ имъ остриться; но я скажу по сердечному убѣжденію, что отрывокъ сей вмѣстѣ силенъ и естественъ. Гнѣвъ, какъ буря возметающая со дна морей грязь и янтарь, выбрасываетъ изъ человѣка самыя низкія выраженія и самыя высокія чувства. Такъ живописалъ гнѣвъ Омиръ, такъ Шекспиръ. — Еще: Шемякѣ кажется, что кн. Заозерскій не отдаетъ ему Софіи. Знаю, говоритъ онъ, что она достойна вѣнца велико-княжескаго: требуй его, скажи, ты увидишь — я готовъ и его добывать.

— Душа добрая, душа пылкая, юноша по сердцу моему! обдумалъ-ли ты все это?

— Я не въ состояніи ни о чемъ думать. Знаю только, что если ты не отдашь ее за меня, то я сей часъ ѣду, и не въ Угличъ мой, но въ Москву, на службу, въ бой, на врага.

противъ брата: кто первый начнетъ, тотъ будетъ мой товарищъ.

Какъ часто, роясь въ лѣтописяхъ, историки тратятъ до послѣдней ленты свой умъ и краснорѣчіе, чтобы найти причину какого нибудь страннаго событія, безразсчетнаго подвига! А онъ произошелъ отъ мгновенной прихоти какого нибудь князя, отъ того, что ему худо спалось или дивно грезилось, или просто потому, что ему хотѣлось показать свое удальство, разгулять себя, забыть себя въ битвѣ. Это настоящій характеръ Русскихъ князей, влюбленныхъ въ славу или въ дѣву.

Кончаю нехотя. Замѣчу при концѣ, что мы стоимъ на брани съ жизнію, что мы должны завоевывать равно свое будущее и свое минувшее, и не обязаны-ли мы потому благодарностію тѣмъ людямъ, которые безплатно, съ усиліями источающими жизнь, отрываютъ родную сторону изъ подъ снѣговъ равнодушія, изъ праха забвенья, и облекаютъ предковъ нашихъ въ жизнь, давно погибшую для нихъ, и столь свѣжую, кипучую для насъ! воспроизводятъ мать-отчизну точь въ точь какъ она была, какъ она жила! Таковъ Полевой, такъ изображаетъ онъ Русь, не умствуя лукаво, но чувствуя глубоко, и сердцемъ угадывая таинственные [illegible] характеровъ, бывшихъ

непонятными даже тѣмъ, кои носили ихъ на челѣ. Онъ пламенными буквами переписываетъ ихъ на душахъ нашихъ, затепляя души передъ высокимъ, передъ доблестнымъ! Жалѣю о тѣхъ, которые не постигаютъ или не хотятъ обнять мысли самоотверженія, проявленной на двѣ грани въ *Клятвѣ*; но, убѣжденъ я, скоро настанетъ время, что отдадутъ справедливость Полевому, равно за его исторію и повѣсти; что публика не будетъ больше прятать въ рукавъ свою руку, но подастъ ему ее безъ перчатки, и скажетъ отъ сердца: Спасибо! Впрочемъ, неполный успѣхъ *Клятвы* произошелъ, вѣроятно, отъ слога: это концертъ Беетговена, сыгранный на плохой скрыпкѣ. Совсѣмъ тѣмъ, *Клятва* есть дѣло не только труда и учености, но познаній и вдохновенья; оно стоитъ не пустаго любопытства, но душевнаго участія; не базарной похвалы книгопродавцевъ, но искренней признательности. Ждемъ съ нетерпѣніемъ, что авторъ, по своему обѣту, положитъ другой такой-же цвѣтокъ поэзіи на могилу минувшаго.

Дагестанъ,
1833.

КОНЕЦЪ ОДИННАДЦАТОЙ ЧАСТИ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ОДИННАДЦАТОЙ ЧАСТИ.

Стран.

Андрей, князь Переяславскій 7
Нѣсколько словъ отъ сочинителя повѣсти.. 7
Глава первая..... 18
—— вторая..... 57
Отрывокъ изъ V пѣсни 99
Дума Святослава..... 102
Мелкія стихотворенія..... 105
Къ нѣкоторымъ поэтамъ..... 107
Отрывокъ изъ комедіи: оптимистъ..... 110
Саатырь, Якутская баллада..... 114
Шебутуй..... 120
Финляндія..... 123
Черепъ 125
Часы 127
Въ день именинъ..... 129
Е. И. Б . . . . . ной..... 133
Осень..... 136
Облако 139
Дождь..... 140
Оживленіе..... 141
Ей 142
Изъ Гете (съ Персидскаго)..... 143

Стран.

Изъ Гете (подражаніе) 144
Всегда и вездѣ 145
Юность 146
Съ персидскаго 147
Эюлейка 148
Изъ Гафиза 149
Разлука 150
Алинѣ 152
Лидѣ 154
Пресыщеніе 156
Тостъ 157
Сонъ 160
Я за моремъ синимъ, за синею далью ... 163
Примѣчанія 164

Взглядъ на Русскую Словесность въ теченіе 1823 года 165

Взглядъ на Русскую Словесность въ теченіе 1824 и началѣ 1825 годовъ 181

Взглядъ на старую и новую словесность въ Россіи 205

О романѣ Н. Полеваго: Клятва при Гробѣ Господнемъ 245

ВП-58-7/16

3 2044 019 209 394

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

CANCELLED

JAN 5 1965 ILL

785

AUG 20 '65 H

7/6/65

WIDENER

CHARGE

OCT - 5 1965

CANCELLED